ФИЛОСОФСКИЙ ПОЕДИНОК

МИШЕЛЬ

МОНТЕНЬ

СКЕПТИЦИЗМ



ОРУЖИЕ РАЗУМА

ФРАНСУА

ЛАРОШФУКО

ФИЛОСОФСКИЙ ПОЕДИНОК

Скептицизм. Оружие разума

Мишель Экéм де Монтень, Франсуа де Ларошфуко

Аннотация
Мишель Монтень, Франсуа Ларошфуко. Скептицизм. Оружие разума
Мишель Монтень. Скептицизм – оружие разума. (из книги «Опыты»)
- Предисловие
- Приговор самому себе
- Непостоянство поступков
- Скептицизм
- Суетность слов
- Наука и ученые мужи
- О книгах
- Сила воображения
- Об умеренности
- О пьянстве
- О дружбе
- О богатстве и бедности
- О трусости
- О жестокости
- О раскаянии
- О самообладании

Об уединении
О страданиях
О самоубийстве
Учиться умирать
Франсуа Ларошфуко
Природа человека. Скептический взгляд. (из «Размышлений на разные темы»)
О манере держать себя и поведении
Об умении вести беседу
Об откровенности
О приятельских отношениях
О любви
О непостоянстве
О различных типах ума
О вкусах
О сходстве людей с животными
Удаление от света
Максимы и моральные размышления. (из одноименной книги Ф. Ларошфуко)

Аннотация

Мишель Монтень (1533-1592) – французский философ. Его философскую позицию можно обозначить как скептицизм, который является, с одной стороны, результатом горького житейского опыта и разочарования в людях, и, с другой стороны, основан на убеждении в недостоверности человеческого познания. Свои мысли Монтень излагает в яркой художественной манере, его стиль отличается остроумием и живостью.

Франсуа Ларошфуко (1613-1680) – французский писатель, автор сочинений философско-моралистического характера. Главный объект его исследований – природа людей и человеческих отношений, которые оцениваются Ларошфуко также весьма скептически. В основе всех человеческих поступков он усматривает самолюбие, тщеславие и преследование личных интересов. Общий тон его сочинений – крайне ядовитый, порой доходящий до цинизма.

В книге представлены работы Монтеня и Ларошфуко, дающие представление о творче-

стве этих философов.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Мишель Монтень, Франсуа Ларошфуко
Скептицизм. Оружие разума

© Перевод с французского: А. Бобович и др., правообладатели
© ООО «Издательство Родина», 2021

Мишель Монтень
Скептицизм – оружие разума (из книги «Опыты»)

Предисловие

Уединившись с недавнего времени у себя дома, я проникся намерением не заниматься, насколько возможно, никакими делами и провести в уединении и покое то недолгое время, которое мне остается еще прожить. Мне показалось, что для моего ума нет и не может быть большего благодеяния, чем предоставить ему возможность в полной праздности вести беседу с самим собою.

Присматриваясь к приемам одного живописца, я загорелся желанием последовать его примеру. Он выбирает самое лучшее место посредине каждой стены и помещает на нем картину, написанную со всем присущим ему мастерством, а пустое пространство вокруг нее заполняет гротесками, то есть фантастическими рисунками, вся прелесть которых состоит в их разнообразии и причудливости. По правде говоря, что же иное и моя книга, как не те же гротески, как не такие же диковинные тела, слепленные как попало из различных частей, без определенных очертаний, последовательности и соразмерности, кроме чисто случайных?

Другие творят человека; я же только расска-

зываю о нем и изображаю личность, отнюдь не являющуюся перлом творения, и будь у меня возможность вылепить ее заново, я бы создал ее, говоря по правде, совсем иною. Но дело сделано, и теперь поздно думать об этом. Штрихи моего наброска нисколько не искажают истины, хотя они все время меняются, и эти изменения необычайно разнообразны. Весь мир — это вечные качели. Все, что он в себе заключает, непрерывно качается: земля, скалистые горы Кавказа, египетские пирамиды, — и качается все это вместе со всем остальным, а также и само по себе. Даже устойчивость — и она не что иное, как ослабленное и замедленное качание.

Эти мои писания — не более чем протокол, регистрирующий всевозможные проносящиеся вереницей явления и неопределенные, а иногда и противоречащие друг другу фантазии, то ли потому, что я сам становлюсь другим, то ли потому, что постигаю предметы при других обстоятельствах и с других точек зрения. Вот и получается, что иногда я противоречу себе самому, но истине, как говорил Демад, я не противоречу никогда. Я скорее предпочту, чтобы все мои дела пошли прахом, чем поступлюсь убеждениями ради своего успеха, ибо эту ново-

модную добродетель притворства и лицемерия я ненавижу самой лютой ненавистью, а из всех возможных пороков не знаю другого, который с такой же очевидностью уличал бы в подлости и низости человеческие сердца. Это повадки раба и труса — скрываться и прятаться под личиной, не осмеливаясь показаться перед нами таким, каков ты в действительности.

Этим путем наши современники приучают себя к вероломству. Когда их вынуждают к лживым посулам и обещаниям, они не испытывают ни малейших укоров совести, пренебрегая их исполнением. Благородное сердце не должно таить свои побуждения. Оно хочет, чтобы его видели до самых глубин; в нем все хорошо или, по меньшей мере, все человечно.

Аристотель считает, что душевное величие заключается в том, чтобы одинаково открыто выказывать и ненависть, и любовь, чтобы судить и говорить о чем бы то ни было с полнейшей искренностью и, ценя истину превыше всего, не обращать внимания на одобрение и порицание, исходящие от других. Аполлоний сказал, что ложь — это удел раба, свободным же людям подобает говорить чистую правду.

Я не знаю, какой выгоды ждут для себя те, кто

без конца лжет и притворяется; на мой взгляд, единственное, что их ожидает, так это то, что, если даже им случится сказать правду, им все равно никто не поверит. Ведь с помощью лжи можно обмануть людей разок-другой, но превращать в ремесло свое притворство и похваляться им, как это делают иные из наших властителей, утверждавшие, что «швырнули б свою рубаху в огонь, если б она была осведомлена об их истинных помыслах и намерениях» (что было сказано одним древним, а именно Метеллом Македонским), или утверждать во всеуслышание, что «кто не умеет как следует притворяться, тот не умеет и царствовать», — это значит заранее предупреждать тех, кому предстоит иметь с ними дело, что всякое слово, слетевшее с уст подобных властителей, не что иное, как ложь и обман.

Человек, который, подобно Тиберию, взял себе за правило думать одно, а говорить другое, может одурачить своей болтовней и притворной миной разве что настоящего болвана; и я не знаю, на что, собственно, могут рассчитывать такие люди в отношениях с другими людьми, раз все, что бы ни исходило от них, не принимается за чистую монету. Кто бесчестен в отношении правды, тот таков же и в отношении лжи.

Я со своей стороны предпочитаю быть скорее докучным и нескромным, чем льстецом и притворщиком. Готов признать, что, когда держишься с такою искренностью и прямотой, не взирая на лица, как это свойственно мне, то тут, быть может, примешивается также немножко гордости и упрямства, и мне кажется, что я веду себя с большей непринужденностью именно там, где это меньше всего подобает, и что путы, налагаемые на меня необходимостью быть почтительным, горячат мою кровь. Впрочем, возможно и то, что я по своей простоте следую в этих случаях за своею природой.

Позволяя себе в общении с власть имущими такую же вольность в речах и жестах, как если бы я имел дело с моими домашними, я очень хорошо понимаю, до чего это похоже на нескромность и неучтивость. Но, кроме того, что я создан таким, я не обладаю достаточно гибким умом, чтобы вилять при поставленном мне прямо вопросе и уклоняться от него с помощью какого-нибудь ловкого хода или искажать истину, как не обладаю также и достаточной памятью, чтобы удерживать в голове искаженную мною истину, или уверенностью, чтобы упорно стоять на своем: короче говоря, я храбр от слабости.

Вот почему я решаюсь уж лучше быть непосредственным и почитаю необходимым неизменно говорить то, что думаю, и поступаю таким образом как в силу моего душевного склада, так и на основании здравого размышления, предоставляя судьбе делать со мной все, что ей будет угодно. Аристипп говорил, что главная польза, извлеченная им из философии, это то, что благодаря ей он научился говорить свободно и откровенно со всяким.

Приговор самому себе

Кто же не видит, что я избрал себе путь, двигаясь по которому безостановочно и без устали, я буду идти и идти, пока на свете хватит чернил и бумаги? Я не могу вести летопись моей жизни, опираясь на свершенные мною дела: судьба назначила мне деятельность слишком ничтожную; я занимаюсь ею, опираясь на вымыслы моего воображения. Знавал я одного дворянина, который оповещал о своей жизни не иначе, как отправлениями своего желудка; у него вы видели выставленные напоказ горшки за последние семь-восемь дней; в этом состояли его занятия, только об этом он говорил; любая другая тема казалась ему зловонной. И здесь (лишь чуточку попристойнее) — такие же испражнения стареющего ума, страдающего то запорами, то поносом и всегда несварением.

Где же смогу я остановиться, воспроизводя непрерывную сумятицу и смену моих мыслей, чего бы они ни касались, раз Диомед заполнил целых шесть тысяч книг только одним предметом — грамматикой? И чего только не породит болтливость, если даже лепет и едва заметные

движения языка придавили мир столь ужасающей грудой томов? Столько слов ради самих слов! О, Пифагор, что же ты не заклял эту бурю!

Некогда Гальбу осуждали за то, что он живет в полной праздности. Он ответил, что каждый обязан отчитываться в своих поступках, а не в своем бездействии. Он заблуждался: правосудие преследует и карает также и тех, кто бездельничает.

Следовало бы иметь установленные законами меры воздействия, которые обуздывали бы бездарных и никчемных писак, как это делается в отношении праздношатающихся и тунеядцев. В этом случае наш народ прогнал бы взашей и меня и сотни других. Я не шучу. Страсть к бумагомаранию является, очевидно, признаком развращенности века. Писали ли мы когда-нибудь столько же до того, как начались наши беды? А римляне до того, как начался их закат? Помимо того, что в любом государстве утонченность умов никоим образом не равнозначна их умудренности, пустое это занятие становится возможным лишь потому, что всякий начинает нерадиво отправлять свою должность и отбивается по этой причине от рук.

В развращении своего века каждый из нас принимает то или иное участие: одни вносят свою

долю предательством, другие — бесчестностью, безбожием, насилием, алчностью, жестокостью; короче говоря, каждый тем, в чем он сильнее всего; самые слабые добавляют к этому глупость, суетность, праздность, — и я принадлежу к числу этих последних. И когда нас гнетет нависшая над нами опасность, тогда, видимо, и наступают сроки для вещей суетных и пустых. В дни, когда злонамеренность в действиях становится, делом обыденным, бездеятельность превращается в нечто похвальное.

Я тешу себя надеждой, что окажусь одним из последних, против кого понадобится применить силу. И пока будут принимать меры против наиболее злокозненных и опасных, у меня хватит времени, чтобы исправиться. Ибо мне представляется, что было бы безрассудным обрушиваться на меньшие недостатки, когда нас одолевает столько больших. И прав был врач Филотим, сказавший тому больному, который протянул ему палец, чтобы он сделал ему перевязку, и у которого он по лицу и дыханию распознал язву в легких: «Сейчас не время, дружок, заниматься твоими ногтями».

И все же я знал одного человека, чью память я высоко чту, который, несмотря ни на что, по-

среди величайших наших несчастий, когда у нас так же, как ныне, не было ни законности, ни правосудия, ни должностных лиц, честно выполняющих свои обязанности, носился с мыслью обнародовать некоторые свои предложения касательно пустячных нововведений в одежде, на кухне и в ходе судебного разбирательства. Все это — не более как забавы, которыми пичкают дурно руководимый народ, чтобы показать, что о нем не совсем забыли. Ничем иным не занимаются также и те, которые на каждом шагу запрещают погрязшему в гнуснейших пороках народу те или иные выражения, танцы и игры. Не время мыться и чиститься, когда тебя треплет беспощадная лихорадка. И одним спартанцам было по плечу причесываться и прихорашиваться перед тем, как броситься навстречу угрожающим жизни опасностям.

Что до меня, то мне свойственно противоположное и дурное обыкновение: если у меня искривилась туфля, то я так же криво застегиваю и рубашку и плащ; я ненавижу приводить себя в порядок наполовину. Когда я оказываюсь в плохом положении, то ухожу с головой в мои горести, предаюсь отчаянию и, даже не пытаясь устоять на ногах, падаю, согласно пословице, как

топорище за топором; я убеждаю себя, что все идет как нельзя хуже и что бороться бессмысленно: все должно быть хорошо или все — дурно.

Среди человеческих черт широко распространена следующая: нам больше нравится непривычное и чужое, чем свое, и мы обожаем движение и перемены. Эту склонность разделяю и я. Кто придерживается противоположной крайности, а именно — довольствоваться самим собой, превыше всего ценить то, чем владеешь, и не признавать ничего прекрасного сверх того, что видишь собственными глазами, те если не прозорливее нас, то бесспорно счастливее. Я ничуть не завидую их премудрости, но что касается безмятежности их души, то тут, признаюсь, меня берет зависть.

Мое счастье, что опустошение нашего государства совпадает по времени с опустошениями, производимыми во мне моим возрастом; если бы общественные несчастья омрачали радости моей юности, они были бы мне не в пример тягостнее, чем теперь, когда они только усугубляют мои печали. Вопли, которыми я разражаюсь в беде, — это вопли, внушенные мне досадой; мое мужество вместо того, чтобы съежиться, становится на дыбы.

В противоположность всем остальным, я гораздо благочестивее в хороших, чем в дурных обстоятельствах, следуя в этом наставлениям Ксенофонта, хотя и не разделяя его оснований; и я охотнее обращаю умиленные взоры к небу, чтобы воздать ему благодарность, чем для того, чтобы выпросить себе его милости. Я больше забочусь об укреплении здоровья, когда оно мне улыбается, чем о том, чтобы его вернуть, когда оно мною утрачено. Меня дисциплинирует и научает благополучие, подобно тому как других — невзгоды и розги. Люди обычно обретают честность в несчастье, словно счастье не совместимо с чистой совестью. Удача — вот что сильнее всего побуждает меня к умеренности и скромности. Просьба меня завоевывает, угроза отталкивает; благосклонность вьет из меня веревки, страх делает меня непреклонным.

Мельчайшие и ничтожнейшие помехи — чувствительнее всего для меня; и как мелкий шрифт больше, чем всякий другой, режет и утомляет глаза, так и любое дело: чем оно незначительней, тем назойливее и хлопотнее. Тьма крошечных неприятностей досаждает сильнее, чем если бы на вас навалилась какая-нибудь одна, сколь бы большой она ни оказалась. И чем многочислен-

нее и тоньше эти подстерегающие нас в нашем доме шипы, тем болезненнее и неожиданнее их уколы, застающие нас чаще всего врасплох.

Я не философ: несчастья меня подавляют, каждое в зависимости от своей тяжести, а она зависит как от их формы, так и от их сущности и часто представляется мне больше действительной; я это знаю лучше других и поэтому терпеливее, чем они. Наконец, если иные несчастья не затрагивают меня за живое, все же они так или иначе меня задевают. Жизнь — хрупкая штука, и нарушить ее покой — дело нетрудное. Лишь только я поддался огорчению, как бы нелепа ни была вызвавшая его причина, я принимаюсь всячески сгущать краски и бередить себя, и в дальнейшем мое мрачное настроение начинает питаться за свой собственный счет, хватаясь за все, что придется, и громоздя одно на другое, лишь бы найти себе пищу.

Оно подпитывается и отвращением к царящим в нашей стране нравам. Я легко бы смирился с их порчей, если бы они наносили ущерб только общественным интересам, но так как они затрагивают и мои интересы, смириться с ними я не могу. Уж очень они меня угнетают. Кому ведомо, не будет ли господу богу угодно, чтобы и с нами

произошло то же самое, что порою случается с иным человеческим телом, которое очищается и укрепляется благодаря длительным и тяжелым болезням, возвращающим ему более полное и устойчивое здоровье, нежели то, какое было ими у него отнято?

Но больше всего меня угнетает то, что, изучая симптомы нашей болезни, я нахожу среди них столько же естественных и ниспосланных самим небом и только им, сколько тех, которые привносятся нашей распущенностью и человеческим безумием. Кажется, что даже светила небесные — и они считают, что мы просуществовали достаточно долго и уже перешли положенный нам предел. Меня угнетает также и то, что наиболее вероятное из нависших над нами несчастий — это не преобразование всей совокупности нашего еще целостного бытия, а ее распадение и распыление, — и из всего, чего мы боимся, это самое страшное.

Между тем, по-моему, нужно, чтобы мы жили под защитою права и власти, а не благодаря чьей-то признательности или милости. Сколько смелых людей предпочло распрощаться с жизнью, чем быть ею кому-то обязанными.

Я избегаю брать на себя какие бы то ни было

обязательства, и особенно те, которые связывают меня долгом чести. Для меня нет ничего драгоценнее, чем полученное мною как дар; вот почему моя воля попадает в заклад ко всякому, кто располагает моей благодарностью, и вот почему я охотнее пользуюсь такими услугами, которые можно купить. Мой расчет вполне правилен; за последние я отдаю только деньги, за все остальное — самого себя. Узы, налагаемые на меня честностью, кажутся мне намного стеснительнее и тяжелее, чем судебное принуждение. Мне не в пример легче, когда меня душат при посредстве нотариуса, чем при моем собственном. Разве не справедливо, что моя совесть чувствует себя более скованной в тех случаях, когда мне оказывается безоговорочное доверие?

В других условиях моя добропорядочность никому ничего не должна, потому что никто ей ничего не одалживал; пусть обращаются ко всевозможным обеспечениям и гарантиям, предоставляемым помимо меня. Мне было бы значительно проще вырваться из плена казематов и законов, чем из того плена, в котором держит меня мое слово. В отношении своих обещаний я щепетилен до педантизма и поэтому, чего бы то ни касалось, стараюсь, чтобы они

были, насколько возможно, неопределенными и условными. Даже тем из них, которые сами по себе не важны, я придаю несвойственную им важность из ревностного стремления неизменно следовать моему правилу; оно мне мешает и обременяет меня, и притом ради себя самого, а не во имя чего-либо иного.

Больше того, если, затевая те или иные дела, даже сугубо личные, в которых я волен действовать всецело по своему усмотрению, я рассказываю кому-нибудь о моем замысле, то мне начинает казаться, что отныне я уже не вправе от него отступиться и что сообщить о нем кому-либо другому — означает сделать его своим непреложным законом; мне кажется, что, говоря, я тем самым даю обещание. Вот почему я редко делюсь моими намерениями.

Приговор, выносимый мною самому себе, гораздо строже и жестче судебного приговора, ибо судья применяет ко мне ту же мерку, что и ко всем, тогда как тиски моей совести крепче и беспощаднее. Я не очень-то рьяно исполняю обязанности, к которым меня бы принудили, если бы я их не нес. К чему меня побуждает необходимость, того мне не хочется, и я знаю таких, которые доходят в этом до явной несправедливо-

сти: они охотнее дарят, чем возвращают, охотнее ссужают, чем платят, и всего расчетливее по отношению к тем, с кем связаны теснее всего. Я не иду этим путем, но не слишком далек от этого.

Я настолько люблю сбрасывать с себя бремя каких бы то ни было обязательств, что порою почитал прибылью различные проявления неблагодарности, нападки и недостойные выходки со стороны тех, к кому, по склонности или в силу случайного стечения обстоятельств, испытывал кое-какое дружеское расположение, ибо я рассматриваю их враждебные действия и их промахи как нечто такое, что целиком погашает мой долг и позволяет мне считать себя в полном расчете с ними. И хотя я продолжаю платить им дань внешнего уважения, возлагаемую на нас общественною благопристойностью, все же я немало сберегаю на этом, так как, делая по принуждению то же самое, что делал и раньше, движимый чувством, я тем самым несколько ослабляю напряженность и озабоченность моей внутренней воли, которая у меня чрезмерно настойчива и беспокойна, во всяком случае для человека, не желающего, чтобы его беспокоили; и эта экономия до некоторой степени возмещает ущерб, причиняемый мне несовершенствами

тех, с кем мне приходится соприкасаться.

Мне, разумеется, неприятно, что они теряют в моих глазах, но зато и я не очень внакладе, так как уже не считаю себя обязанным расточать им в такой мере свою внимательность и преданность. Я не порицаю того, кто меньше любит своего ребенка, потому что он покрыт паршою и горбат, и не только тогда, когда тот коварен и злобен, но и тогда, когда он попросту несчастлив и жалок (сам господь этим способом обесценил его и определил ему место ниже естественного), лишь бы при этом охлаждении чувств соблюдалась мера и должная справедливость. По мне, кровная близость не сглаживает недостатков, напротив, она их, скорее, подчеркивает.

Итак, насколько я знаю толк в искусстве оказывать благодеяния и платить признательностью за те, что тебе оказаны, — а это искусство тонкое и требующее большого опыта, — я не вижу вокруг себя никого, кто до последнего времени был бы независимее, чем я, и менее моего в долгу перед кем бы то ни было. Да и вообще, нет никого, кто был бы в этом отношении так же чист перед людьми, как я.

Государи с избытком одаряют меня, если не отнимают моего, и благоволят ко мне, когда не

причиняют мне зла; вот и все, чего я от них хочу. О сколь признателен я господу богу за то, что ему было угодно, чтобы всем моим достоянием я был обязан исключительно его милости, и также еще за то, что он удержал все мои долги целиком за собой. Как усердно молю я святое его милосердие, чтобы и впредь я не был обязан кому-нибудь чрезмерно большой благодарностью! Благодатная свобода, так долго ведшая меня по моему пути! Пусть же она доведет меня до конца!

Я стремлюсь не иметь ни в ком настоятельной надобности. Тяжело и чревато всевозможными неожиданностями зависеть от чужой воли. Мы сами — а это наиболее надежное и безопасное наше прибежище — не слишком в себе уверены. У меня нет ничего, кроме моего «я», но и этой собственностью я как следует не владею, и она, к тому же, мною частично призанята. Я стараюсь воспитать в себе крепость духа, что важнее всего, и равнодушие к ударам судьбы, чтобы у меня было на что опереться, если бы все остальное меня покинуло.

Гиппий из Эллиды, водя дружбу с музами, запасся не только ученостью, чтобы, в случае необходимости, с радостью прекратить общение со всеми другими, и не только знанием философии,

чтобы приучить свою душу довольствоваться собой и, если так повелит ее участь, мужественно обходиться без радостей, привносимых извне; он, кроме того, был настолько предусмотрителен, что научился стряпать для себя пищу, стричь свою бороду, шить себе одежду и обувь и изготовлять все необходимые ему вещи, дабы, насколько это возможно, рассчитывать лишь на себя и избавиться от посторонней помощи. Гораздо свободнее и охотнее пользуешься благами, предоставленными тебе другим, в том случае, если пользование ими не вызывается горестною и настоятельною необходимостью и если в твоей воле и в твоих возможностях достаточно средств и способов обойтись и без них.

Я хорошо себя знаю. И все же мне трудно себе представить, чтобы где-нибудь на свете существовали щедрость столь благородная, гостеприимство столь искреннее и бескорыстное, которые не показались бы мне исполненными чванства и самодурства и были бы свободными от налета упрека, если бы судьба заставила меня к ним обратиться. Если давать — удел властвующего и гордого, то принимать — удел подчиненного. Свидетельство тому — выраженный в оскорбительном и глумливом тоне отказ Баязида от

присланных ему Тимуром подарков.

А те подарки, которые были предложены от имени султана Сулеймана султану Калькутты, породили в последнем столь великую ярость, что он не только решительно от них отказался, заявив, что ни он, ни его предшественники не имели обычая принимать чьи-либо дары, а, напротив, почитали своею обязанностью щедро их раздавать, но и бросил в подземную темницу послов, направленных к нему с упомянутой целью.

Когда Фетида, говорит Аристотель, заискивает перед Юпитером, когда лакедемоняне заискивают перед афинянами, они не освежают в их памяти то хорошее, что они для них сделали, напоминание о чем всегда неприятно, но вспоминают благодеяния, которые те оказали им самим.

Люди, которые, как я вижу, пользуются без зазрения совести услугами всех и каждого, оставаясь тем самым в долгу перед ними, этого бы, конечно, не делали, если бы понимали, как все, кто не лишен рассудка, что значит связывать себя обязательством: его, пожалуй, можно иногда оплатить, но рассчитаться по нему невозможно. Это — мучительные оковы для каждого, кто любит всегда и везде класть локти так, как ему

удобно. Моим знакомым — тем, кто выше меня по своему положению, и тем, кто ниже, — отлично известно, что они еще не видели человека менее назойливого, чем я. Если я не подхожу под современную мерку, то это — не великое чудо, так как его основа — многочисленные свойства моего характера: немножко природной гордости, боязнь столкнуться с отказом, ограниченность желаний и намерений, неприспособленность к ведению каких бы то ни было дел и, наконец, излюбленные мои качества: приверженность к праздности и к свободе.

Из-за всего этого я питаю смертельную ненависть и к тому, чтобы от кого-либо зависеть, и к тому, чтобы искать у кого-либо поддержки, если этот кто-либо не я сам. Прежде чем я позволю себе прибегнуть к чужой благосклонности, я прилагаю усилия, на какие только способен, чтобы обойтись без нее — ив пустяках и в чем-либо важном. Мои друзья нестерпимо докучают мне, когда просят, чтобы я попросил за них кого-либо третьего. И для меня не менее затруднительно использовать и таким образом освободить от обязательств того, кто мне должен, чем обязаться ради них перед тем, кто у меня ни с какой стороны не в долгу. Если пренебречь этим — и еще

при одном условии, а именно, чтобы от меня не хотели чего-нибудь слишком хлопотного и сложного (ибо я объявил беспощадную войну всяким заботам), — я, в общем, охотно готов помочь в нужде каждому. Впрочем, я всегда в большей мере избегал брать, чем старался давать, — ведь, по Аристотелю, это гораздо приятнее.

Моя судьба не очень-то позволяла мне благодетельствовать другим, но и то малое, что она мне позволила, пало на неблагодарную почву. Если бы она назначила меня родиться с тем, чтобы занять среди людей высокое положение, я бы стремился к тому, чтобы заставить себя полюбить, а не к тому, чтобы внушать страх и поражать воображение. Позволительно ли мне выразить это с еще большей самонадеянностью? Я бы столько же проявлял заботу о том, чтобы нравиться, как и о том, чтобы приносить пользу. Кир устами своего превосходного полководца и еще более выдающегося философа весьма мудро оценивает свою доброту и свои благодеяния не в пример выше, нежели свою доблесть и свои обширные завоевания. И Сципион Старший всюду, где хочет возвысить себя в людском мнении, ставит свою мягкость и человечность выше своей храбрости и побед, и у него всегда на устах прославленные

слова о том, что он принудил своих врагов полюбить его так же, как его любят друзья.

Итак, я хочу сказать, что если уж нужно быть всегда связанным каким-то долгом, то это должно иметь более твердые основания. Я не нахожу, к примеру, мой родной воздух самым живительным на всем свете. Природа произвела нас на свет свободными и независимыми; это мы сами запираем себя в тех или иных тесных пределах, уподобляясь в известном смысле персидским царям, давшим обет не пить никакой воды, кроме, как из реки Хоасп: отказавшись, по неразумению, от своего права употреблять любую другую воду, они обезводили для себя весь мир.

Не являясь гражданином ни одного города, я был весьма рад сделаться гражданином самого благородного из всех, какие когда-либо были или когда-либо будут. Если бы и другие всматривались в себя так же пристально, как это делаю я, то и они нашли бы себя такими же, каков я, то есть заполненными всякой тщетой и всяким вздором. Избавиться от этого я не могу иначе, как избавившись от себя самого. Все мы проникнуты суетой, но кто это чувствует, тот все же менее заблуждается; впрочем, может быть, я и неправ.

Всеобщее обыкновение и стремление всматри-

ваться во что угодно, но только не в самих себя, в высшей степени благодетельно для нашего брата. Ведь мы представляем собой не очень-то приятное зрелище: суетность и убожество — вот и вся наша сущность. Чтобы не отнять у нас бодрости духа, природа направила — и, надо сказать, весьма кстати — деятельность нашего органа зрения лишь на пребывающее вне нас. Мы плывем по течению, а повернуть в обратную сторону и возвратиться к себе — дело исключительно трудное; ведь и море злится и препятствует себе самому, когда, встретив преграду, отходит назад.

Посмотрите, говорит каждый, как разыгрывается ненастье, посмотрите на окружающих, посмотрите на иск, предъявленный тем-то, посмотрите на цвет лица того-то, на завещание, оставленное таким-то; короче говоря, посмотрите вверх или вниз, или вбок, или перед собой, или оглянитесь назад. Но повеление дельфийского бога, полученное нами от него в стародавние времена, предъявляет нам требования, идущие наперекор всем нашим повадкам: «Всмотритесь в себя, познайте себя, ограничьтесь самими собой; ваш разум и вашу волю, растрачиваемые вами вовне, направьте, наконец, на себя; вы растекаетесь, вы разбрасываетесь; сожмитесь, со-

средоточьтесь в себе; вас предают, вас отвлекают, вас похищают у вас самих. Разве ты не видишь, что этот мир устремляет свои взоры внутрь себя и его глаза созерцают лишь себя самого? Суетность — вот твой удел и в тебе самом и вне тебя, но, заключенная в тесных границах, она все-таки менее суетна. О, человек, кроме тебя одного, — говорит этот бог, — все сущее прежде всего познает самого себя и в соответствии со своими потребностями устанавливает пределы своим трудам и своим желаниям. И нет ни одного существа, которое было бы столь же нищим и одолеваемым нуждами, как ты, человек, жаждущий объять всю вселенную. Ты — исследователь без знаний, повелитель без прав и, в конце концов, всего-навсего шут из фарса».

Непостоянство поступков

Величайшая трудность для тех, кто занимается изучением человеческих поступков, состоит в том, чтобы примирить их между собой и дать им единое объяснение, ибо обычно наши действия так резко противоречат друг другу, что кажется невероятным, чтобы они исходили из одного и того же источника. Марий Младший в одних случаях выступал как сын Марса, в других — как сын Венеры. Папа Бонифаций VIII, как говорят, вступая на папский престол, вел себя лисой, став папой, выказал себя львом, а умер как собака. А кто поверит, что Нерон — это подлинное воплощение человеческой жестокости, — когда ему дали подписать, как полагалось, смертный приговор одному преступнику, воскликнул: «Как бы я хотел не уметь писать!» — так у него сжалось сердце при мысли осудить человека на смерть.

Подобных примеров великое множество, и каждый из нас может привести их сколько угодно; поэтому мне кажется странным, когда разумные люди пытаются иногда мерить все человеческие поступки одним аршином, между тем как непостоянство представляется мне самым обычным и

явным недостатком нашей природы.

Мы обычно следуем за нашими склонностями направо и налево, вверх и вниз, туда, куда влечет нас вихрь случайностей. Мы думаем о том, чего мы хотим, лишь в тот момент, когда мы этого хотим, и меняемся, как то животное, которое принимает окраску тех мест, где оно обитает. Мы отвергаем только что принятое решение, потом опять возвращаемся к оставленному пути; это какое-то непрерывное колебание и непостоянство.

Мы не идем — нас несет, подобно предметам, подхваченным течением реки, — то плавно, то стремительно, в зависимости от того, спокойна она или бурлива. Каждый день нам на ум приходит нечто новое, и наши настроения меняются вместе с течением времени.

Мы колеблемся между различными планами: в наших желаниях никогда нет постоянства, нет свободы, нет ничего безусловного. В жизни того, кто предписал бы себе и установил бы для себя в душе определенные законы и определенное поведение, должно было бы наблюдаться единство нравов, порядок и неукоснительное подчинение одних вещей другим.

Эмпедокл обратил внимание на одну странность в характере агригентцев: они предавались

наслаждениям так, как если бы им предстояло завтра умереть, и в то же время строили такие дома, как если бы им предстояло жить вечно.

Судить о некоторых людях очень легко. Взять, к примеру, Катона Младшего: тут тронь одну клавишу — и уже знаешь весь инструмент; тут гармония согласованных звуков, которая никогда не изменяет себе. А что до нас самих, тут все наоборот: сколько поступков, столько же требуется и суждений о каждом из них. На мой взгляд, вернее всего было бы объяснять наши поступки окружающей средой, не вдаваясь в тщательное расследование причин и не выводя отсюда других умозаключений.

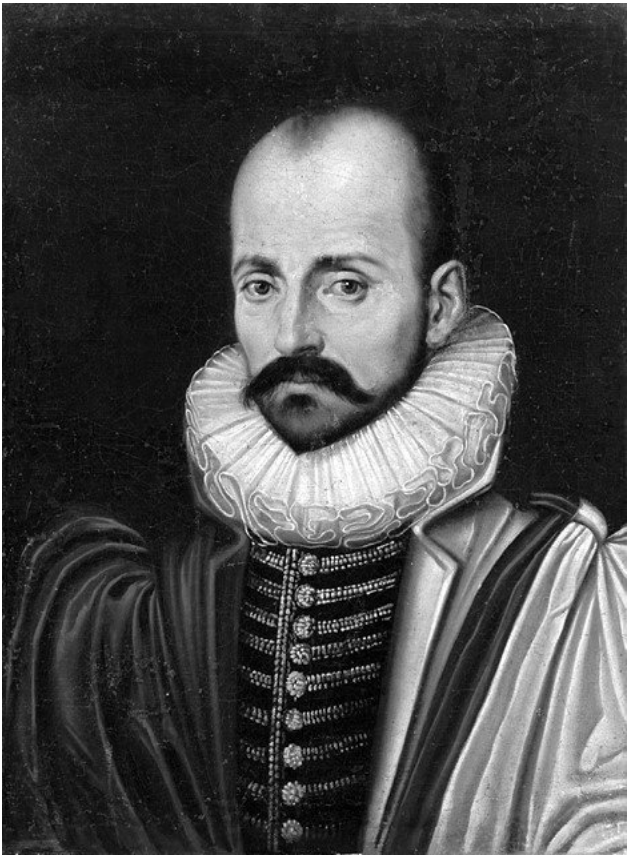
Во время неурядиц в нашем несчастном отечестве случилось, как мне передавали, что одна девушка, жившая неподалеку от меня, выбросилась из окна, чтобы спастись от насилия со стороны мерзавца солдата, ее постояльца; она не убилась при падении и, чтобы довести свое намерение до конца, хотела перерезать себе горло, но ей помешали сделать это, хотя она и успела основательно себя поранить. Она потом призналась, что солдат еще только осаждал ее просьбами, уговорами и посулами, но она опасалась, что он прибегнет к насилию. И вот, как результат этого

— ее крики, все ее поведение, кровь, пролитая в доказательство ее добродетели, — ни дать, ни взять вторая Лукреция. Между тем я знал, что в действительности она и до и после этого происшествия была девицей не столь уж недоступной. Как гласит присловье, «если ты, будучи тих и скромен, натолкнулся на отпор со стороны женщины, не торопись делать из этого вывод о ее неприступности: придет час — и погонщик мулов свое получит».

Наблюдающаяся у нас изменчивость и противоречивость, эта зыбкость побудила одних мыслителей предположить, что в нас живут две души, а других — что в нас заключены две силы, из которых каждая влечет нас в свою сторону: одна — к добру, другая — ко злу, ибо резкий переход от одной крайности к другой не может быть объяснен иначе.

Однако не только случайности заставляют меня изменяться по своей прихоти, но и я сам, кроме того, меняюсь по присущей мне внутренней неустойчивости, и кто присмотрится к себе внимательно, может сразу же убедиться, что он не бывает дважды в одном и том же состоянии. Я придаю своей душе то один облик, то другой, в зависимости от того, в какую сторону я ее обращаю.

Если я говорю о себе по-разному, то лишь потому, что смотрю на себя с разных точек зрения. Тут словно бы чередуются все заключенные во мне противоположные начала. В зависимости от того, как я смотрю на себя, я нахожу в себе и стыдливость, и наглость; и целомудрие, и распутство; и болтливость, и молчаливость; и трудолюбие, и изнеженность; и изобретательность, и тупость; и угрюмость и добродушие; и лживость, и правдивость; и ученость, и невежество; и щедрость, и скупость, и расточительность. Все это в той или иной степени я в себе нахожу в зависимости от угла зрения, под которым смотрю. Всякий, кто внимательно изучит себя, обнаружит в себе, и даже в своих суждениях, эту неустойчивость и противоречивость. Я ничего не могу сказать о себе просто, цельно и основательно, я не могу определить себя единым словом, без сочетания противоположностей.



Мишель де Монтень родился в фамильном замке в городе Сен-Мишель-де-Монтень вблизи

Бордо, на юго-западе Франции. Его отец Пьер де Монтень, один из образованнейших людей своего времени, был мэром Бордо; мать — Антуанетта де Лопез, по мужской линии из семьи зажиточных арагонских евреев, перешедших в католицизм в начале XV века. В раннем детстве Мишель воспитывался по либерально-гуманистической методике отца — его учитель, немец, совершенно не владел французским языком и говорил с Мишелем исключительно на латыни. Получив прекрасное образование дома, Монтень затем окончил колледж и стал юристом.

Должен сказать при этом, что я всегда склонен говорить о добром доброе и толковать скорее в хорошую сторону вещи, которые могут быть таковыми, хотя, в силу свойств нашей природы, нередко сам порок толкает нас на добрые дела, если только не судить о доброте наших дел исключительно по нашим намерениям. Вот почему смелый поступок не должен непременно предполагать доблести у совершившего его человека; ибо тот, кто по-настоящему доблестен, будет таковым всегда и при всех обстоятельствах. Если бы это было проявлением врожденной добродетели, а не случайным порывом, то человек был бы одинаково решителен во всех случаях: как

тогда, когда он один, так и тогда, когда он находится среди людей; как во время поединка, так и в сражении; ибо, что бы там ни говорили, нет одной храбрости на уличной мостовой и другой на поле боя. Он будет так же стойко переносить болезнь в постели, как и ранение на поле битвы, и не будет бояться смерти дома больше, чем при штурме крепости. Не бывает, чтобы один и тот же человек смело кидался в брешь, а потом плакался бы, как женщина, проиграв судебный процесс или потеряв сына.

Наши поступки — не что иное, как разрозненные, не слаженные между собой действия, и мы хотим, пользуясь ложными названиями, заслужить почет. Добродетель требует, чтобы ее соблюдали ради нее самой; и если иной раз ею прикрываются для иных целей, она тотчас же срывает маску с нашего лица. Если она однажды проникла к нам в душу, то она подобна яркой и несмываемой краске, которая сходит только вместе с тканью. Вот почему, чтобы судить о человеке, надо долго и внимательно следить за ним: если постоянство ему несвойственно, если он, в зависимости от разнообразных случайностей, меняет путь (я имею в виду именно путь, ибо шаги можно ускорять или, наоборот,

замедлять), предоставьте его самому себе — он будет плыть по воле волн, как гласит поговорка нашего Тальбота.

Мы все лишены цельности и скроены из отдельных клочков, каждый из которых в каждый данный момент играет свою роль. Настолько многообразно и пестро наше внутреннее строение, что в разные моменты мы не меньше отличаемся от себя самих, чем от других. Следует поискать внутри нас, проникнув до самых глубин, и установить, от каких толчков исходит движение; однако, принимая во внимание, что это дело сложное и рискованное, я хотел бы, чтобы как можно меньше людей занимались этим.

Скептицизм

«Мы знаем вещи в сновидении, — говорит Платон, — а в действительности ничего не знаем». Всякий, ищущий решения какого-нибудь вопроса, в конце концов приходит к одному из следующих заключений: он либо утверждает, что нашел искомое решение, либо — что оно не может быть найдено, либо — что он все еще продолжает поиски. Вся философия делится на эти направления. Ее задача состоит в искания истины, знания и достоверности. Перипатетики, эпикурейцы, стоики и представители других философских школ полагали, что им удалось найти истину. Клитомах, Карнеад и академики отчаялись в своих поисках в пришли к мысли, что нашими средствами нельзя познать истину. Конечный вывод их — признание человеческой слабости и неведения; это течение имело наибольшее число приверженцев и самых выдающихся последователей.

Пиррон и другие скептики, или эпехисты (многие стороны учения которых восходят к глубокой древности, к Гомеру, семи мудрецам, Архилоху, Еврипиду, а также Зенону, Демокриту и Ксено-

фану), утверждали, что они все еще находятся в поисках истины. Они считали, что бесконечно ошибаются те, кто полагает, что открыли ее, и находили слишком смелым даже вышеуказанное утверждение, что человеческими средствами невозможно познать истину. Ибо, по их мнению, установить пределы наших возможностей, познать и судить о трудностях вещей уже само по себе — большая и сложная наука, которая вряд ли под силу человеку.

Неведение, которое сознает себя, судит и осуждает себя, уже не есть полное неведение; чтобы быть таковым, оно не должно сознавать себя. Поэтому высший принцип пирронистов — это всегда колебаться, сомневаться, искать, ни в чем не быть уверенным и ни за что не ручаться. Из трех способностей души — воображения, желания и утверждения — они признают только первые две; что же касается третьей, то они высказываются о ней неопределенно, не принимая и не отвергая ее, — настолько они считают ее ненадежной.

Придерживаясь своего учения, пирронисты были свободны от нетерпимости и довольно вяло спорили со своими противниками. Они не боялись возражений и опровержений. Когда они

утверждали, что тяжелые тела падают вниз, они были недовольны, если с ними соглашались в этом, и хотели, чтобы им противоречили, дабы таким путем посеяно было сомнение, которое повлекло бы за собой воздержание от суждения, являвшееся их конечной целью.

Они выдвигали свои положения лишь для того, чтобы опровергать те, в которых другие, по их мнению, были уверены. Если бы вы приняли их положения, они столь же охотно стали бы доказывать обратное, ибо им было все равно: ведь они не делали выбора между той и другой точкой зрения. Если бы вы вздумали утверждать, что снег черен, они, наоборот, стали бы доказывать, что он бел. Если вы стали бы говорить, что он и не черен и не бел, они стали бы утверждать, что он и черен и бел. Если бы вы начали уверенно отстаивать, что ничего не знаете о данном предмете, они стали бы доказывать, что вы его знаете. Если же, основываясь на утвердительном суждении, вы начали бы уверять, что вы в этом сомневаетесь, они стали бы спорить с вами и доказывать, что вы в этом не сомневаетесь. Этой чрезмерностью сомнения, которое само себя опровергает, пирронисты отличались от представителей других точек зрения и даже от тех, кто отстаивал разные

другие виды сомнения и неведения.

Избавив себя от необходимости защищаться, пирронисты создали себе замечательное преимущество в борьбе. Им неважно, если их бьют, лишь бы они сами наносили удары, и они пользуются любым оружием. Если они побеждают, значит ваше положение хромает, и наоборот. Если они ошибаются, они подтверждают этим свое незнание; если же вы ошибаетесь, то вы подтверждаете его. Они будут удовлетворены, если сумеют доказать вам, что нельзя ничего познать, но они будут удовлетворены и в том случае, если не смогут этого доказать. Для них важнее доказать вам, что данная вещь неверна, чем то, что она верна; или доказать, что она не является тем-то, чем то, что она является этим; они охотнее скажут вам, чего они не думают, чем то, что они думают.

Пирронисты обычно выражались так: «Я ничего не утверждаю; он ни то, ни другое; я не понимаю этого; и то и другое одинаково вероятно; можно с равным основанием говорить и за и против любого утверждения. Нет ничего истинного, что не могло бы казаться ложным». Их излюбленные слова — я воздерживаюсь, я не склоняюсь ни в ту, ни в другую сторону. Они постоянно повторяли его или что-нибудь в этом

роде. Их целью являлся ясный, полный и совершенный отказ от суждения или воздержание от него. Они пользовались своим разумом для поисков истины и споров о ней, но не для того, чтобы что-нибудь решать и производить выбор. Тот, кто может представить себе постоянное признание неведения, кто может представить себе суждение, не склоняющееся ни в ту, ни в другую сторону, чего бы это ни касалось, тот поймет, что такое пирронизм.

Пиррона изображают человеком тяжеловесным и упрямым, жившим нелюдимо и необщительно, легко переносившим все неудобства, любившим все дикое и сумрачное, отказывавшимся повиноваться законам. Это значило бы идти дальше его системы. Он не желал превратиться в камень или пень; он хотел быть живым человеком, думающим и рассуждающим, наслаждающимся всеми естественными благами и удовольствиями, правильно и по назначению применяющим и использующим все свои физические и духовные силы. А что касается ложных вымышленных и фантастических привилегий, присвоенных себе человеком, а именно предписывать, устанавливать истину и поучать ей, то он с легким сердцем отверг их и отрекся от них.

Среди человеческих измышлений нет ничего более истинного и полезного, чем пирронизм. Нам следовало бы помнить, что мы часто воспринимаем нашим умом ложные вещи, причем теми самыми средствами, которые часто изменяют себе и обманывают нас.

Впрочем, нет ничего удивительного, что они изменяют себе, поскольку так легко уклоняются и сворачивают с пути под действием самых ничтожных случайностей. Несомненно, что наши суждения, наш разум и наши душевные способности всегда зависят от телесных изменений, которые совершаются непрерывно. Разве мы не замечаем, что, когда мы здоровы, наш ум работает быстрее, память проворнее, а речь живее, чем когда мы больны? Разве, когда мы радостны и веселы, мы не воспринимаем вещи совсем поиному, чем когда мы печальны и удручены?

В наших судах в ходу одно выражение, применяемое к преступнику, которому посчастливилось наткнуться на судью в благодушном и кротком настроении; про него говорят: «Пусть он радуется своей удаче»; ибо известно, что судьи в одних случаях склонны к осуждению и более суровым приговорам, а в других — к оправданию обвиняемого и более легким и мягким решениям. Судья,

который, придя из дому, принес с собой свои подагрические боли или свои муки ревности или душа которого пышет гневом против обокравшего его слуги, несомненно более склонен будет к вынесению сурового приговора.

Наши суждения изменяются не только под влиянием лихорадки, крепких напитков или каких-нибудь крупных нарушений в нашем организме — достаточно и самых незначительных, чтобы перевернуть их. Если непрерывная лихорадка способна сразить нашу душу, то нет сомнения, что и перемежающаяся производит на нас — хотя бы мы этого и не чувствовали — соответствующее действие. Если апоплексический удар вызывает полное помрачение или ослабление наших умственных способностей, то на них действует и простой насморк; и, следовательно, вряд ли можно найти хотя бы час в нашей жизни, когда бы наше суждение не подвергалось тому или иному воздействию, поскольку наше тело подвержено непрерывным изменениям и имеет столь сложное устройство, что я согласен с врачами, утверждающими, будто трудно уловить мгновение, когда хоть какой-нибудь из его винтиков не был неисправен.

Впрочем, эту болезнь не так-то легко обнару-

жить, если она не доведена до крайности и не неизлечима; тем более что разум всегда идет нетвердой походкой, ковыляя и прихрамывая. Он всегда перемешан как с ложью, так и с истиной, поэтому нелегко обнаружить его неисправность, его расстройство. Разумом я всегда называю ту видимость логического рассуждения, которую каждый из нас считает себе присущей; этот разум, обладающий способностью иметь сто противоположных мнений об одном и том же предмете, представляет собой инструмент из свинца и воска, который можно удлинять, сгибать и приспособлять ко всем размерам: нужно только умение владеть им. Какие бы благие намерения ни были у судьи, все же на него оказывают влияние дружеские отношения, родственные связи, красота, мстительность; но даже и не такие важные вещи, а просто случайное влечение побуждает нас иной раз отнестись более благоприятно к одному делу, чем к другому, и, без ведома разума, произвести выбор между двумя сходными вещами; бывает, что какое-нибудь совсем незначительное обстоятельство может незаметно повлиять на наш приговор в положительном или отрицательном смысле и склонить чашу весов в определенную сторону.

Я, следящий за собой самым пристальным образом, неустанно всматривающийся в себя самого, подобно тому, кто не имеет других забот, едва ли в состоянии буду сознаться во всех тех слабостях и изъянах, которые мне присущи. Я столь нетверд на ногах и шаток и так плохо соображаю и разбираюсь в вещах, что натощак я ни на что не годен и чувствую себя лучше только когда поем; если у меня прекрасное самочувствие и надо мною ясное небо, то я обходительный человек; если меня мучит мозоль на ноге, я становлюсь хмурым, нелюбезным и необщительным. Один и тот же аллюр лошади иногда кажется мне короче, другой раз длиннее; один и тот же вид кажется мне то более, то менее привлекательным. То я готов сделать все, что угодно, то не хочу делать ничего; вещь, которая в данный момент доставляет мне удовольствие, в другое время мне тягостна. Я обуреваем тысячью безрассудных и случайных волнений; то я нахожусь в подавленном состоянии, то в приподнятом; то печаль безраздельно владеет мной, то веселье. Читая книги, я иногда наталкиваюсь в некоторых местах на красоты, пленяющие мою душу; но в другие разы, когда я возвращаюсь к этим местам, они остаются для меня ничего не говорящими, тусклыми словами,

сколько бы я на все лады ни читал и ни перечитывал их.

Даже в моих собственных писаниях я не всегда нахожу их первоначальный смысл: я не знаю, что я хотел сказать, и часто принимаюсь с жаром править и вкладывать в них новый смысл вместо первоначального, который я утратил и который был лучше. Я топчусь на месте; мой разум не всегда устремляется вперед; он блуждает и мечется. Желая развлечь и поупражнять свой ум, я не раз (что мне случается делать с большой охотой) принимался поддерживать мнение, противоположное моему; применяясь к нему и рассматривая предмет с этой стороны, я так основательно проникался им, что не видел больше оснований для своего прежнего мнения и отказывался от него. Я как бы влекусь к тому, к чему склоняюсь, — что бы это ни было — и несусь, увлекаемый собственной тяжестью.

Всякий, кто, как я, присмотрится к себе, сможет сказать о себе примерно то же самое. Проповедники хорошо знают, что волнение, охватывающее их при произнесении проповеди, усиливает их веру, а по себе мы хорошо знаем, что, объятые гневом, мы лучше защищаем свои мнения, внушаем их себе и принимаем их горячее и с

большим одобрением, чем находясь в спокойном и уравновешенном состоянии. Когда вы просто излагаете ваше дело адвокату и спрашиваете его совета, он отвечает вам, колеблясь и сомневаясь: вы чувствуете, что ему все равно, поддержать ли вас или противную сторону; но когда вы, желая подстрекнуть и расшевелить его, хорошо ему заплатите, не заинтересуется ли он вашим делом, не подзадорит ли это его? Его разум и его опытность примутся все более усердствовать — и вот уму уже начнет представляться явная и несомненная истина; все дело представится ему в совершенно новом свете, он добросовестно уверует в вашу правоту и убедит себя в этом. Уж не знаю, происходит ли от строптивости и упорства, заставляющих противиться насилию властей, или же от стремления к славе тот пыл, который принуждает многих людей отстаивать вплоть до костра то мнение, за которое в дружеском кругу и на свободе им бы и в голову не пришло чем-либо пожертвовать.

На нашу душу сильно действуют потрясения и переживания, вызываемые телесными ощущениями, но еще больше действуют на нее ее собственные страсти, имеющие над ней такую власть, что можно без преувеличения сказать,

что ими определяются все ее движения и что, не будь их, она оставалась бы недвижима, подобно кораблю в открытом море, не подгоняемому ветром. Не будет большой ошибкой защищать это утверждение; ибо известно, что многие самые благородные душевные суждения обусловлены страстями и нуждаются в них. Сколько прекрасных поступков продиктовано честолюбием! Сколько — высокомерием? Всякая выдающаяся и смелая добродетель не обходится в конечном счете без какого-нибудь отрицательного возбудителя.

Какие различные чувства и мысли вызывает в нас многообразие наших страстей! Каких только ни порождает оно противоречивых представлений! Какую уверенность можем мы почерпнуть в столь непостоянном и переменчивом явлении, как страсть, которая по самой своей природе подвластна волнению и никогда не развивается свободно и непринужденно? Какой достоверности можем мы ждать от нашего суждения, если оно зависит от потрясения и болезненного состояния, если оно вынуждено получать впечатления от вещей под влиянием исступления и безрассудства?

Забавная вещь: из-за расстройства нашего

разума, причиняемого страстями, мы становимся добродетельными; и благодаря тому, что исступление или прообраз смерти разрушают наш разум, мы становимся пророками и прорицателями! С величайшей охотой готов этому поверить. Благодаря подлинному вдохновению, которым святая истина осеняет философский ум, она заставляет его, вопреки его собственным утверждениям, признать, что спокойное и уравновешенное состояние нашей души, то есть самое здоровое состояние, предписываемое философией, не является ее наилучшим состоянием. Наше бодрствование более слепо, чем сон. Наша мудрость менее мудра, чем безумие. Наши фантазии стоят больше, чем наши рассуждения. Самое худшее место, в котором мы можем находиться, это мы сами.

Будучи от природы вялым и нескоропалительным, я не имею обширного опыта в тех бурных увлечениях, большинство которых внезапно овладевает нашей душой, не давая ей времени опомниться и разобраться. Но та страсть, которая, как говорят, порождается в сердцах молодых людей праздностью и развивается размеренно и не спеша, являет собой для тех, кто пытался противостоять ее натиску, поучительный пример

полного переворота в наших суждениях, коренной перемены в них. Желая сдержать и покорить страсть (ибо я не принадлежу к тем, кто поощряет пороки, и поддаюсь им только тогда, когда они увлекают меня), я когда-то пытался держать себя в узде; но я чувствовал, как она зарождается, растет и ширится, несмотря на мое сопротивление, и под конец, хотя я все видел и понимал, она захватила меня и овладела мною до такой степени, что, точно под влиянием опьянения, вещи стали представляться мне иными, чем обычно, и я ясно видел, как увеличиваются и вырастают достоинства существа, к которому устремлялись мои желания; я наблюдал, как раздувал их вихрь моего воображения, как уменьшались и сглаживались мои затруднения в этом деле, как мой разум и мое сознание отступали на задний план. Но лишь только погасло это любовное пламя, как в одно мгновение душа моя, словно при вспышке молнии, увидела все в ином свете, пришла в иное состояние и стала судить по-иному; трудности отступления стали казаться мне огромными, непреодолимыми, и те же самые вещи приобрели совсем иной вкус, иной вид, чем они имели под влиянием пыла моего желания.

Какой из них более истинный, этого Пиррон не

знает. В нас всегда таится какая-нибудь болезнь. При лихорадке жар перемежается с ознобом; после жара пламенной страсти нас кидает в ледяной холод. Я с не меньшей силой бросаюсь вперед, чем подаюсь потом назад.

Познав эту изменчивость, я как-то выработал в себе известную устойчивость взглядов и старался не менять своих первых и безыскусственных мнений. В противном случае я не мог бы остановиться и без конца менял бы свои взгляды. Та легкость, с какой умные люди могут сделать правдоподобным все, что захотят, благодаря чему нет ничего столь необычного, чего они не сумели бы преобразить настолько, чтобы обмануть такого простака, как я, — лучше всего доказывает слабость их доводов. Не всякому верь, — говорит пословица, — ибо всякий может сказать все, что ему вздумается.

Суетность слов

Один ритор былых времен говорил, что его ремесло состоит в том, чтобы вещи малые изображать большими. Пригонять большие сапоги к маленькой ноге — искусство сапожника. В Спарте его подвергли бы бичеванию за то, что он сделал своим ремеслом обман и надувательство. Я думаю, что Архидам, который был царем Спарты, не без удивления выслушал ответ Фукидида на свой вопрос, кто сильнее в единоборстве — он или Перикл. «Это, — сказал Фукидид, — было бы трудно проверить; ибо если бы я свалил его на землю, он сумел бы убедить зрителей, что он не упал, а одержал верх».

Те, кто изменяет и подкрашивает лица женщин, причиняет меньше вреда, ибо не видеть их природного облика — потеря небольшая. Люди, пытающиеся обмануть не глаза наши, а разум и извратить и исказить истинную сущность вещей, гораздо вреднее. Государства, в управлении которыми господствовал твердый порядок, как, например, критское или лакедемонское, не придавали большого значения ораторам.

Аристон мудро определяет риторику: искус-

ство убеждать народ; Сократ и Платон: искусство льстить и обманывать, а те, кто отвергает такое общее определение, подтверждают его правильность в своих частных наставлениях.

Магометане запрещают обучать своих детей риторике ввиду ее бесполезности. А афиняне, у которых она была в большом почете, заметив, сколь губительно оказываемое ею действие, предписали устранить из нее самое главное — все, что возбуждало волнение чувств, вместе со вступлениями и заключениями.

Это орудие, изобретенное для того, чтобы волновать толпу и управлять неупорядоченной общиной, применяется, подобно лекарствам, только в нездоровых государственных организмах. Ораторы во множестве расплодились там, где простонародье, невежды и вообще все без разбору пользовались властью, как, например, в Афинах, на Родосе, в Риме, и где вся общественная жизнь протекала бурно. И действительно, в этих государствах было мало влиятельных людей, которые выдвинулись бы без помощи красноречия: при его поддержке достигли, в конце концов, высших должностей такие люди, как Помпей, Цезарь, Красс, Лукулл, Лентул, Метелл, и оно помогло им больше, чем сила оружия, вопреки воззрениям

лучших времен. Ибо Луций Волумний, выступая публично в пользу избрания консулами Квинта Фабия и Публия Деция, сказал: «Это — мужи, рожденные для войны, великие в действии, суровые в словесных схватках, истинно консульские умы; утонченные, красноречивые и ученые, они хороши для городских должностей в качестве преторов, отправляющих правосудие».

Красноречие процветало в Риме больше всего тогда, когда его дела шли хуже всего, когда его потрясали бури гражданской войны, подобно тому как на невозделанном и запущенном поле пышнее всего разрастаются сорные травы. Из этого можно сделать вывод, что государства, где правит монарх, нуждаются в красноречии меньше, чем все другие. Ибо массе свойственны глупость и легкомыслие, из-за которых она позволяет вести себя куда угодно, завороженная сладостными звуками красивых слов и не способная проверить разумом и познать подлинную суть вещей. На подобном легкомыслии, говорю я, не так легко играть, когда речь идет об одном человеке, которого к тому же легче предохранить хорошим воспитанием и добрыми советами от этого яда. Недаром из Македонии или Персии не вышло ни одного знаменитого оратора.

Не знаю, как у других, но когда я слышу, как наши архитекторы щеголяют пышными словами вроде: пилястр, архитрав, карниз, коринфский и дорический ордер, и тому подобными из их жаргона, моему воображению представляется дворец Аполидона; а на самом деле я вижу здесь только жалкие доски моей кухонной двери.

Вы слышите, как произносят слова метонимия, метафора, аллегория и другие грамматические наименования, и не кажется ли вам, что обозначаются таким образом формы необычайной, особо изысканной речи? А ведь они могут применяться и к болтовне вашей горничной.

Подобный же обман — давать нашим государственным должностям великолепные римские названия, хотя наши должности по характеру выполняемых обязанностей имеют очень мало общего с римскими, а по размерам власти и могущества — еще меньше. Укажу еще на один обман, который, по-моему, когда-нибудь будет приводиться в доказательство исключительной умственной ограниченности нашего времени, — это наделять без всяких оснований кого угодно славными прозваниями, которыми древние почтили только одного-двух выдающихся людей на протяжении целых столетий. Прозвание

«божественный» было дано Платону всеобщим признанием, и никто не стал бы его у него оспаривать. Но итальянцы, которые не без основания могут похваляться тем, что ум у них более развит, а суждения более здравы, чем у других народов нашего времени, недавно почтили этим прозвищем Аретино, который, на мой взгляд, ничем не возвышается над средним уровнем писателей своего времени, если не считать его пышной и заостренной манеры, не лишенной изысканности, но искусственной и надуманной, и кроме того — обычного красноречия, а уж до «божественности» в том смысле, какой придавали этому слову древние, ему далеко. А прозвище «великий» мы часто даем государям, которые отнюдь не возвышаются над любым средним человеком.

Наука и ученые мужи

Я готов утверждать, что подобно тому, как растения чахнут от чрезмерного обилия влаги, а светильники — от обилия масла, так и ум человеческий при чрезмерных занятиях и обилии знаний, загроможденный и подавленный их бесконечным разнообразием, теряет способность разобраться в этом нагромождении и под бременем непосильного груза сгибается и увядает. Мы умеем сказать с важным видом: «Так говорит Цицерон» или «таково учение Платона о нравственности», или «вот подлинные слова Аристотеля». Ну, а мы-то сами, что мы скажем от своего имени? Каковы наши собственные суждения? Каковы наши поступки? А то ведь это мог бы сказать и попугай. По этому поводу мне вспоминается один римский богач, который, не останавливаясь перед затратами, приложил немало усилий, чтобы собрать у себя в доме сведущих в различных науках людей; он постоянно держал их подле себя, чтобы в случае, если речь зайдет о том или другом предмете, один мог выступить вместо него с каким-нибудь рассуждением, другой — прочесть стих из Гомера,

словом, каждый по своей части. Он полагал, что эти знания являются его личною собственностью, раз они находятся в головах принадлежащих ему людей. Совершенно так же поступают и те, ученость которых заключена в их роскошных библиотеках.

Я знаю одного такого человека: когда я спрашиваю его о чем-нибудь, хотя бы хорошо ему известном, он немедленно требует книгу, чтобы отыскать в ней нужный ответ; и он никогда не решится сказать, что у него на заду завелась парша, пока не справится в своем лексиконе, что собственно значит зад и что значит парша.

Мы берем на хранение чужие мысли и знания, только и всего. Нужно, однако, сделать их собственными. Мы уподобляемся человеку, который, нуждаясь в огне, отправился за ним к соседу и, найдя у него прекрасный, яркий огонь, стал греться у чужого очага, забыв о своем намерении разжечь очаг у себя дома. Что толку набить себе брюхо говядиной, если мы не перевариваем ее, если она не преобразуется в ткани нашего тела, если не прибавляет нам веса и силы?

Мы опираемся на чужие руки с такой силой, что, в конце концов, обессиливаем. Хочу ли я побороть страх смерти? Я это делаю за счет Се-

неки. Стремлюсь ли утешиться сам или утешить другого? Я черпаю из Цицерона. А между тем, я мог бы обратиться за этим к себе самому, если бы меня надлежащим образом воспитали. Нет, не люблю я этого весьма относительного богатства, собранного с мира по нитке, но если можно быть учеными чужою ученостью, то мудрыми мы можем быть лишь собственной мудростью.

Если учение не вызывает в нашей душе никаких изменений к лучшему, если наши суждения с его помощью не становятся более здравыми, то наш школяр, по-моему, мог бы с таким же успехом вместо занятий науками играть в мяч; в этом случае, по крайней мере, его тело сделалось бы более крепким. Но взгляните: вот он возвращается после пятнадцати или шестнадцати лет занятий; найдется ли еще кто-нибудь, столь же неприспособленный к практической деятельности? От своей латыни и своего греческого он стал надменнее и самоуверенней, чем был прежде, покидая родительский кров, — вот и все его приобретения. Ему полагалось бы прийти с душой наполненной, а он приходит с разбухшею; ей надо было бы возвеличиваться, а она у него только раздулась.

Наши учителя, подобно своим братьям-софи-

стам, о которых это же самое говорит Платон, среди всех прочих людей — те, которые обещают быть всех полезнее человечеству, на деле же, среди всех прочих людей — единственные, которые не только не совершенствуют отданной им в обработку вещи, как делают, например, каменщик или плотник, а, напротив, портят ее, и притом требуют, чтобы им заплатили за то, что они привели ее в еще худшее состояние.

Если бы у нас было принято правило, предложенное Протагором тем, кто у него обучался, а именно: либо они платят ему, сколько бы он ни назначил, либо под присягою заявляют во всеуслышание в храме, во сколько сами оценивают пользу от занятий с ним, и в соответствии с этим вознаграждают его за труд, то мои учителя не разбогатели бы, получив плату на основании принесенной мною присяги.

Мои земляки перигорцы очень метко называют таких ученых мужей — lettreferits [окниженные], вроде того как по-французски сказали бы lettre-ferus, то есть те, кого наука как бы оглушила, стукнув по черепу. И действительно, чаще всего они кажутся нам пришибленными, лишенными даже самого обыкновенного здравого смысла. Возьмите крестьянина или сапожника:

вы видите, что они просто и не мудрствуя лукаво живут помаленьку, говоря только о тех вещах, которые им в точности известны. А наши ученые мужи, стремясь возвыситься над остальными и щегольнуть своими знаниями, на самом деле крайне поверхностными, все время спотыкаются на своем жизненном пути и попадают впросак. Они умеют красно говорить, но нужно, чтобы кто-то другой применил их слова на деле. Они хорошо знают Галена, но совершенно не знают больного. Еще не разобравшись, в чем суть вашей тяжбы, они забивают вам голову целою кучей законов. Им известна теория любой вещи на свете; надо только найти того, кто применил бы ее на практике.

Мне довелось как-то наблюдать у себя дома, как один из моих друзей, встретившись с подобным педантом, принялся, развлечения ради, подражать их бессмысленному жаргону, нанизывая без всякой связи ученейшие слова, нагромождая их одно на другое и лишь время от времени вставляя выражения, относящиеся к предмету их диспута. Целый день заставлял он этого дуралея, вообразившего, будто он отвечает на возражения, которые ему делают, вести нескончаемый спор. А ведь это был человек высокоученый, пользо-

вавшийся известностью и занимавший видное положение.

Кто присмотрится внимательнее к этой породе людей, надо сказать, довольно распространенной, тот найдет, подобно мне, что чаще всего они не способны понять ни самих себя, ни других, и что, хотя память их забита всякой всячиной, в голове у них совершенная пустота, — кроме тех случаев, когда природа сама не пожелала устроить их иначе.

Некоторые наши парламенты, принимая на службу чиновников, проверяют лишь наличие у них нужных знаний; но другие присоединяют к этому также испытание их ума, предлагая высказываться по поводу того или иного судебного дела. Последние, на мой взгляд, поступают гораздо правильнее; хотя необходимо и то и другое и надлежит чтобы оба эти качества были в наличии, все же, говоря по правде, знания представляются мне менее ценными, нежели ум. Последний может обойтись без помощи первых, тогда как первые не могут обойтись без ума. Ибо, как гласит греческий стих «к чему наука, если нет разумения?». Дай бог, чтобы ко благу нашего правосудия эти судебные учреждения сделались столь же разумны и совестливы, как они бога-

ты ученостью. Ведь дело не в том, чтобы, так сказать, прицепить к душе знания: они должны укорениться в ней; не в том, чтобы окропить ее ими: нужно, чтобы они пропитали ее насквозь; и если она от этого не изменится и не улучшит своей несовершенной природы, то, безусловно, благоразумнее махнуть на все это рукой. Знания, — обоюдоострое оружие, которое только обременяет и может поранить своего хозяина, если рука, которая держит его, слаба и плохо умеет им пользоваться.

Тому, кто не постиг науки добра, всякая иная наука приносит лишь вред. Причина этого, которую я пытался только что выяснить, заключается, быть может, и в том, что у нас во Франции обучение наукам не преследует, как правило, никакой иной цели, кроме прямой выгоды. Я не считают тех, весьма немногих лиц, которые, будучи созданы самой природой для занятии скорей благородных, чем прибыльных, всей душой отдаются науке; иные из них, не успев как следует познать вкус науки, оставляют ее ради деятельности, не имеющей ничего общего с книгами.

Таким образом, по-настоящему уходят в науку едва ли не одни горемыки, ищущие в ней средства к существованию. Однако в душе этих людей,

и от природы и вследствие домашнего воспитания, а также под влиянием дурных примеров наука приносит чаще всего дурные плоды. Ведь она не в состоянии озарить светом душу, которая лишена его, или заставить видеть слепого; ее назначение не в том, чтобы даровать человеку зрение, но в том, чтобы научить его правильно пользоваться зрением, когда он движется, при условии, разумеется, что он располагает здоровыми и способными передвигаться ногами.

Наука — великолепное снадобье; но никакое снадобье не бывает столь стойким, чтобы сохраняться, не подвергаясь порче и изменениям, если плох сосуд, в котором его хранят. У иного, казалось бы, и хорошее зрение, да на беду он косит; вот почему он видит добро, но уклоняется от него в сторону, видит науку, но не следует ее указаниям. Основное правило в государстве Платона — это поручать каждому гражданину только соответствующие его природе обязанности. Природа все может и все делает. Хромые мало пригодны к тому, что требует телесных усилий; так же и те, кто хромает душой, мало пригодны к тому, для чего требуются усилия духа. Душа ублюдочная и низменная не может возвыситься до философии. Встретив дурно обутого челове-

ка, мы говорим себе: неудивительно, если это сапожник. Равным образом, как указывает нам опыт, нередко бывает, что врач менее, чем всякий другой, печется о врачевании своих недугов, теолог — о самоусовершенствовании, а ученый — о подлинных знаниях.

О книгах

Я не ищу никакого другого удовольствия от книг, кроме разумной занимательности, и занят изучением только одной науки, науки самопознания, которая должна меня научить хорошо жить и хорошо умереть.

Если я при чтении натыкаюсь на какие-нибудь трудности, я не бьюсь над разрешением их, а, попытавшись разок-другой с ними справиться, прохожу мимо. Если бы я углубился в них, то потерял бы только время и сам потонул бы в них, ибо голова моя устроена так, что я обычно усваиваю с первого же чтения, и то, чего я не воспринял сразу, я начинаю понимать еще хуже, если упорно бьюсь над этим. Я все делаю весело, упорство же и слишком большое напряжение действуют на мой ум удручающе, утомляют и омрачают его. При вчитывании я начинаю хуже видеть, и внимание мое рассеивается. Мне приходится отводить глаза от текста и опять внезапно взглядывать на него; совершенно так же, как для того, чтобы судить о красоте алого цвета, нам рекомендуют несколько раз скользнуть по нему глазами, неожиданно отворачиваясь и

взглядывая опять. Если какая-нибудь книга меня раздражает, я выбираю другую и погружаюсь в чтение только в те часы, когда меня начинает охватывать тоска от безделья.

Я люблю историков либо весьма простодушных, либо проницательных. Простодушные историки, которые не вносят в освещение событий ничего своего, а заняты лишь тем, чтобы тщательно собрать все дошедшие до них сведения и добросовестно записать все события без всякого отбора, всецело предоставляют познание истины нам самим. Проницательные историки умеют отобрать то, что достойно быть отмеченным; они способны выбрать из двух известий более правдоподобное; кроме того, они объясняют решения государей их характером и положением и приписывают им соответствующие речи. Они правы, ставя своей задачей склонять нас к своим взглядам, но, разумеется, на это способны лишь немногие. Историки, занимающие промежуточную позицию (а это наиболее распространенная разновидность их), все портят: они стремятся разжевать нам отрывочные данные, они присваивают себе право судить и, следовательно, направлять ход истории по своему усмотрению, ибо, если суждение историка однобоко, то он

не может предохранить свое повествование от извращения в том же направлении.

Такого рода историки занимаются отбором фактов, достойных быть отмеченными, и часто скрывают от нас то или иное слово или частное действие, которые могли бы объяснить нам значительно больше; они опускают, как вещи невероятные, то, чего не понимают, а иногда опускают кое-что, может быть, просто потому, что не умеют выразить этого на хорошем латинском или французском языке. Пусть они смело выставляют напоказ свое слабое красноречие и свои рассуждения, пусть высказывают какие угодно суждения, но пусть оставят и нам возможность судить после них, пусть они не искажают своими сокращениями и своим отбором исторический материал, ничего из него не изымают, а предоставят нам его в полном объеме и в нетронутом виде.



Замок Монтень. Современный вид.

В 1565 году Монтень женился, получив солидное приданое. После смерти отца в 1568 году он унаследовал родовое имение Монтень, где поселился и жил до самой смерти. Здесь в 1572 году, в возрасте 38 лет Монтень начинает писать свои «Опыты»; первое издание вышло в 1580 году.

Большей частью, в особенности в наше время, в качестве историков выбираются люди из простонародья единственно на том основании, что они хорошо владеют пером, как если бы мы стремились научиться у них грамматике! А они,

заботясь лишь об этой стороне дела, по-своему правы, поскольку они продают только свое умение болтать и им платят деньги именно за это. Поэтому, жонглируя красивыми словами, они преподносят набор всяких слухов, собранных ими на городских перекрестках. Единственно доброкачественные исторические сочинения были написаны людьми, которые сами вершили эти дела, либо причастны были к руководству ими, или теми, на долю которых выпало по крайней мере вести другие подобного же рода дела. Таковы почти все исторические сочинения, написанные греческими и римскими авторами. И так как о тех же делах писали многие очевидцы (как водилось в те времена, когда и знания и высокое положение обычно сочеталось в одном лице), то если у них и встретится какая-нибудь ошибка, она должна быть очень незначительна и относиться к какому-нибудь весьма неясному случаю. Но чего можно ждать от врача, пишущего о делах войны, или от ученика, излагающего планы государей?

Достаточно привести один пример, чтобы убедиться, насколько щепетильны были в своих писаниях римские авторы. Азиний Поллион обнаружил кое-какие неточности даже в истори-

ческих работах самого Цезаря; Цезарь допустил их либо потому, что не мог своими глазами уследить за всем, что происходило во всех частях его армии, и полагался на отдельных людей, нередко сообщавших ему недостаточно проверенные факты, либо потому, что его приближенные не вполне точно осведомляли его о делах, которые они вели в его отсутствие.

На этом примере можно убедиться, до чего тонкое дело установление истины, раз при описании какого-нибудь сражения нельзя положиться на донесение того, кто им руководил, или на рассказ солдат о том, что происходило около них, а надо сопоставить — как это делается при судебном разбирательстве — показания свидетелей и учитывать возражения, даже по поводу мельчайших подробностей в каждом случае. Надо признать, что наши познания в нашей собственной истории весьма слабы. Но об этом достаточно писал Воден в том же духе, что и я.

Чтобы помочь делу с моей плохой памятью, которая так изменяла мне, что мне приходилось не раз брать в руки как совершенно новые и неизвестные мне книги, которые несколько лет тому назад я тщательно читал и испещрил своими замечаниями, я с недавнего времени завел

себе привычку отмечать в конце всякой книги (я имею в виду книги, которые я хочу прочитывать только один раз) дату, когда я закончил ее читать, и в общих чертах суждение, которое я о ней вынес, чтобы иметь возможность на основании этого по крайней мере припомнить общее представление, которое я составил себе о данном авторе, читая его.

Сила воображения

Я один из тех, на кого воображение действует с исключительной силой. Всякий более или менее поддается ему, но некоторых оно совершенно одолевает. Его натиск подавляет меня. Вот почему я норовлю ускользнуть от него, но не сопротивляюсь ему. Я хотел бы видеть вокруг себя лишь здоровые и веселые лица. Если кто-нибудь страдает в моем присутствии, я сам начинаю испытывать физические страдания, и мои ощущения часто вытесняются ощущениями других. Если кто-нибудь поблизости закашляется, у меня стесняется грудь и першит в горле. Я менее охотно навещаю больных, в которых принимаю участие, чем тех, к кому меньше привязан и к кому испытываю меньшее уважение. Я перенимаю наблюдаемую болезнь и испытываю ее на себе. И я не нахожу удивительным, что воображение причиняет горячку и даже смерть тем, кто дает ему волю и поощряет его.

Симон Тома был великим врачом своего времени. Помню, как однажды, встретив меня у одного из своих больных, богатого старика, больного чахоткой, он, толкуя о способах вернуть ему

здоровье, сказал, между прочим, что один из них — это сделать для меня привлекательным пребывание в его обществе, ибо, направляя свой взор на мое свежее молодое лицо, а мысли на жизнерадостность и здоровье, источаемые моей юностью в таком изобилии, а также заполняя свои чувства цветением моей жизни, он сможет улучшить свое состояние. Он забыл только прибавить, что из-за этого может ухудшиться мое собственное здоровье.

Вибий Галл настолько хорошо научился проникаться сущностью и проявлениями безумия, что, можно сказать, вывихнул свой ум и никогда уже не мог вправить его; он мог бы с достаточным основанием похваляться, что стал безумным от мудрости.

Мы покрываемся потом, дрожим, краснеем, бледнеем, потрясаемые своими фантазиями, и, зарывшись в перину, изнемогаем от их натиска; случается, что иные даже умирают от этого. И пылкая молодежь иной раз так разгорячится, уснув в полном одеянии, что во сне получает удовлетворение своих любовных желаний.

Я держусь того мнения, что так называемое наведение порчи на новобрачных, которое столь многим людям причиняет большие неприятно-

сти и о котором в наше время столько толкуют, объясняется, в сущности, лишь действием тревоги и страха. Мне доподлинно известно, что некто, за кого я готов поручиться, как за себя самого, в том, что его-то уж никак нельзя заподозрить в недостаточности подобного рода, равно как и в том, что он был во власти чар, услышав как-то от одного из своих приятелей о внезапно постигшем того, и притом в самый неподходящий момент, полном бессилии, испытал, оказавшись в сходном положении, то же самое вследствие страха, вызванного в нем этим рассказом, поразившим его воображение. С тех пор с ним не раз случалась подобная вещь, ибо тягостное воспоминание о первой неудаче связывало и угнетало его. В конце концов, он избавился от этого надуманного недуга при помощи другой выдумки. А именно, признаваясь в своем недостатке и предупреждая о нем, он облегчал свою душу, ибо сообщением о возможности неудачи он как бы уменьшал степень своей ответственности, и она меньше тяготила его. После того, как он избавился от угнетавшего его сознания вины и почувствовал себя свободным вести себя так или иначе, его телесные способности перешли в свое натуральное состояние; первая же попытка его оказалась

удачной, и он добился полного исцеления.

Ведь кто оказался способным к этому хоть один раз, тот и в дальнейшем сохранит эту способность, если только он и в самом деле не страдает бессилием. Этой невзгоды следует опасаться лишь на первых порах, когда наша душа сверх меры охвачена, с одной стороны, пылким желанием, с другой — робостью, и, особенно, если благоприятные обстоятельства застают нас врасплох и требуют решительности и быстроты действий; тут уж, действительно, ничем не поможешь. Я знаю одного человека, которому помогло от этой беды его собственное тело, когда в последнем началось пресыщение и вследствие этого ослабление плотского желания; с годами он стал ощущать в себе меньше бессилия именно потому, что сделался менее сильным.

Амасис, царь египетский, женился на Лаодике, очень красивой греческой девушке; и вдруг оказалось, что он, который неизменно бывал славным сотоварищем в любовных утехах, не в состоянии вкусить от нее наслаждений; он грозил, что убьет ее, считая, что тут не без колдовства. И как бывает обычно во всем, что является плодом воображения, оно увлекло его к благочестию; обратившись к Венере с обетами и

мольбами, он ощутил уже в первую ночь после заклания жертвы и возлияний, что силы его чудесным образом восстановились.

И зря иные женщины встречают нас с таким видом, будто к ним опасно притронуться, будто они злятся на нас, и мы внушаем им неприязнь; они гасят в нас пыл, стараясь разжечь его. Сноха Пифагора говаривала, что женщина, которая спит с мужчиною, должна вместе с платьем сбрасывать с себя и стыдливость, а затем вместе с платьем вновь обретать ее.

Новобрачные, у которых времени сколько угодно, не должны торопиться и подвергать себя испытанию, пока они не готовы к нему; и лучше нарушить обычай и не спешить с воздаянием должного брачному ложу, где все исполнено волнения и лихорадки, а дожидаться, сколько бы ни пришлось, подходящего случая, уединения и спокойствия, чем сделаться на всю жизнь несчастным, пережив потрясение и впав в отчаянье от первой неудачной попытки.

Не без основания отмечают своенравие этого органа, так некстати оповещающего нас порой о своей готовности, когда нам нечего с нею делать, и столь же некстати утрачивающего ее, когда мы больше всего нуждаемся в ней; так своенравно

сопротивляющегося владычеству нашей воли и с такою надменностью и упорством отвергающего те увещания, с которыми к нему обращается наша мысль. И все же, предложи он мне соответствующее вознаграждение, дабы я защищал его от упреков, служащих основанием, чтобы вынести ему обвинительный приговор, я постарался бы, в свою очередь, возбудить подозрение в отношении остальных наших органов, его сотоварищей, в том, что они, из зависти к важности и приятности принадлежащих ему обязанностей, выдвинули это ложное обвинение и составили заговор, дабы восстановить против него целый мир, злостно приписывая ему одному прегрешения, в которых повинны все они вместе.

Наконец, в пользу моего подзащитного я мог бы добавить и следующее: да соблаговолят принять во внимание то, что обвинение, выдвинутое против него, неразрывно связано с пособничеством его сотоварищей, хотя и обращено только к нему одному, ибо улики и доказательства здесь таковы, что, учитывая обстоятельства тяжущихся сторон, они не могут быть предъявлены его сотоварищам. Уже из этого легко усмотреть недобросовестность и явную пристрастность истцов. Как бы то ни было, сколько бы не препирались и какие бы

решения ни выносили адвокаты и судьи, природа всегда будет действовать согласно своим законам; и она поступила, вне всякого сомнения, вполне правильно, даровав этому органу кое-какие особые права и привилегии. Он — вершитель и исполнитель единственного бессмертного деяния смертных. Зачатие, согласно Сократу, есть божественное деяние; любовь — жажда бессмертия и она же — бессмертный дух.

Каждый может добавить к приведенному мной свои собственные примеры, а у кого их нет, то пусть поверит мне, что они легко найдутся, принимая во внимание большое число и разнообразие засвидетельствованных случаев подобного рода. Если приведенные мною примеры не вполне убедительны, пусть другой подыщет более подходящие.

Об умеренности

Можно подумать, что наше прикосновение несет с собою заразу; ведь мы портим все, к чему ни приложим руку, как бы ни было оно само по себе хорошо и прекрасно. Можно и к добродетели прилепиться так, что она станет порочной: для этого стоит лишь проявить к ней слишком грубое и необузданное влечение. Те, кто утверждает, будто в добродетели не бывает чрезмерного по той причине, что все чрезмерное не есть добродетель, просто играют словами, это не более, как философское ухищрение. Можно и чересчур любить добродетель и впасть в крайность, ревнуя к справедливости. Здесь уместно вспомнить слова апостола: «Не будьте более мудрыми, чем следует, но будьте мудрыми в меру».

Я видел одного из великих мира сего, который подорвал веру в свое благочестие, будучи слишком благочестив для людей его положения.

Я люблю натуры умеренные и средние во всех отношениях. Чрезмерность в чем бы то ни было, даже в том, что есть благо, если не оскорбляет меня, то, во всяком случае, удивляет, и я затрудняюсь, каким бы именем ее окрестить. И мать

Павсания, которая первой изобличила сына и принесла первый камень, чтобы его замуровать, и диктатор Постумий, осудивший на смерть своего сына только за то, что пыл юности увлек того во время успешной битвы с врагами, и он оказался немного впереди своего ряда, кажутся мне скорее странными, чем справедливыми. И я не имею ни малейшей охоты ни призывать к столь дикой и столь дорогой ценой купленной добродетели, ни следовать ей.

Лучник, который допустил перелет, стоит того, чья стрела не долетела до цели. И моим глазам так же больно, когда их внезапно поражает яркий свет, как и тогда, когда я вперяю их во мрак. Калликл у Платона говорит, что крайнее увлечение философией вредно, и советует не углубляться в нее далее тех пределов, в каких она полезна; если заниматься ею умеренно, она приятна и удобна, но, в конце концов, она делает человека порочным и диким, презирающим общие верования и законы, врагом приятного обхождения, врагом всех человеческих наслаждений, не способным заниматься общественной деятельностью и оказывать помощь не только другому, но и себе самому, готовым безропотно сносить оскорбления. Он вполне прав, если предаваться

в философии излишествам, она отнимает у нас естественную свободу и своими докучливыми ухищрениями уводит с прекрасного и ровного пути, который начертала для нас природа.

Привязанность, которую мы питаем к нашим женам, вполне законна; теология, однако, всячески обуздывает и ограничивает ее. Я когда-то нашел у святого Фомы, в том месте, где он осуждает браки между близкими родственниками, среди других доводов также и следующий: есть опасность, что чувство, питаемое к жене-родственнице, может стать неумеренным; ведь, если муж в должной мере испытывает к жене подлинную и совершенную супружескую привязанность и к ней еще добавляется та привязанность, которую мы должны испытывать к родственникам, то нет никакого сомнения, что этот излишек заставит его выйти за пределы разумного.

Науки, определяющие поведение и нравы людей, — как философия и теология, — вмешиваются во все: нет среди наших дел и занятий такого, — сколь бы оно ни было личным и сокровенным, — которое могло бы укрыться от их назойливых взглядов и их суда. Избегать их умеют лишь те, кто ревниво оберегает свою свободу. Таковы женщины, предоставляющие свои

прелести всякому, кто пожелает: однако стыд не велит им показываться врачу.

Итак, я хочу от имени этих наук наставить мужей (если еще найдутся такие, которые и в браке сохраняют неистовство страсти), что даже те наслаждения, которые они вкушают от близости с женами, заслуживают осуждения, если при этом они забывают о должной мере, и что в законном супружестве можно так же впасть в распущенность и разврат, как и в прелюбодейной связи. Эти бесстыдные ласки, на которые толкает нас первый пыл страсти, не только исполнены непристойности, но и несут в себе пагубу нашим женам. Пусть лучше их учит бесстыдству кто-нибудь другой. Они и без того всегда готовы пойти нам навстречу. Что до меня, то я следовал лишь естественным и простым влечениям, внушаемым нам самой природой.

Брак — священный и благочестивый союз; вот почему наслаждения, которые он нам приносит, должны быть сдержанными, серьезными, даже, в некоторой мере, строгими. Это должна быть страсть совестливая и благородная. И поскольку основная цель такого союза — деторождение, некоторые сомневаются, дозволительна ли близость с женой в тех случаях, когда мы не можем

надеяться на естественные плоды, например, когда женщина беременна или когда она вышла уже из возраста. По мнению Платона, это то же, что убийство. Некоторые народы и, между прочим, магометане гнушаются сношений с беременными женщинами; другие — когда у женщины месячные. Зенобия допускала к себе мужа один только раз, а затем в течение всего периода беременности не разрешала прикасаться к ней; и только тогда, когда наступало время вновь зачать, он снова приходил к ней. Вот похвальный и благородный пример супружества.

У какого-то истомившегося и жадного до этой утехи поэта Платон позаимствовал такой рассказ. Однажды Юпитер до того возгорелся желанием насладиться со своей женой, что, не имея терпения подождать, пока она ляжет на ложе, повалил ее на пол. От полноты испытанного им удовольствия он начисто забыл о решениях, только что принятых им совместно с богами на его небесном придворном совете. Он похвалялся затем, что ему на этот раз было так же хорошо, как тогда, когда он лишил свою жену девственности тайком от ее и своих родителей.

Цари Персии хотя и приглашали своих жен на пиры, но когда желания их от выпитого вина

распалялись и им начинало казаться, что еще немного и придется снять узду со страстей, они отправляли их на женскую половину, дабы не сделать их соучастницами своей безудержной похоти, и звали вместо них других женщин, к которым не обязаны были относиться с таким уважением.

Не всякие удовольствия и не всякие милости в одинаковой мере приличествуют людям разного положения. Эпаминонд велел посадить в темницу одного распутного юношу; Пелопид попросил его выпустить ради него узника на свободу; Эпаминонд ответил отказом, но уступил ходатайству одной из своих подруг, которая также об этом просила. Он следующим образом объяснил свое поведение: это была милость, оказанная приятельнице, но недостойная по отношению к военачальнику. Софокл, будучи претором одновременно с Периклом, увидел однажды проходившего мимо красивого юношу. «Погляди, какой прелестный юноша!» — сказал он Периклу, на что Перикл ответил: «Он может быть желанен для всякого, но не для претора, у которого должны быть незапятнанными не только руки, но и глаза».

Когда жена императора Элия Вера стала жало-

ваться, что он ищет любовных утех с другими женщинами, тот ей ответил, что делает это со спокойной совестью, так как брак есть исполненный достоинства, честный союз, а не легкомысленная и сладострастная связь. И наши старинные церковные авторы с похвалой вспоминают о женщине, которая дала развод своему мужу, потому что не пожелала терпеть его чрезмерно сладострастные и бесстыдные ласки. И, вообще говоря, нет такого дозволенного и законного наслаждения, в котором излишества и неумеренность не заслуживали бы нашего порицания.

Но, говоря по совести, до чего же несчастное животное — человек! Самой природой он устроен так, что ему доступно лишь одно только полное и цельное наслаждение, и однако же он сам старается урезать его своими нелепыми умствованиями. Видно, он еще недостаточно жалок, если не усугубляет сознательно и умышленно своей горькой доли. Мудрость человеческая поступает весьма глупо, пытаясь ограничить количество и сладость предоставленных нам удовольствий, — совсем так же, как и тогда, когда она усердно и благосклонно пускает в ход свои ухищрения, дабы пригладить и приукрасить страдания и уменьшить нашу чувствительность

к ним. Если бы я был главой какой-нибудь секты, я избрал бы другой, более естественный путь, который и впрямь является и более удобным и более праведным; и я, быть может, сумел бы увлечь людей на него.

Между тем, наши врачеватели, и телесные и духовные, словно сговорившись между собой, не находят ни другого пути к исцелению, ни других лекарств против болезней души и тела, кроме мучений, боли и наказаний. Бдения, посты, власяница, изгнание в отдаленные и пустынные местности, заключение навеки в темницу, бичевание и прочие муки были введены именно ради этого и притом с непременным условием, чтобы они были самыми что ни на есть настоящими муками и мы со всей остротой ощущали бы их горечь и чтобы не получалось так, как произошло с неким Галлионом, который, будучи отправлен в изгнание на остров Лесбос, как сообщили оттуда в Рим, жил там в свое удовольствие, и, таким образом, то, что предназначалось ему в наказание, превратилось для него в благоденствие; тогда сенат, изменив ранее принятое решение, возвратил его обратно к жене и приказал ему не отлучаться из дома, дабы он и в самом деле почувствовал, что наказан. Ибо, кому пост придает здоровья и

бодрости, кому рыба нравится больше, для того пост уже не будет исцеляющим душу средством; и точно так же, при врачевании тела, лекарства не оказывают полезного действия на того, кто принимает их с охотою и удовольствием.

Горечь и отвращение, которое они вызывают, являются обстоятельствами, содействующими их целительным свойствам. Человек, который мог бы употреблять ревень как обычную пищу, не испытывал бы никакой пользы от его применения: надо, чтобы ревень бередил желудок, — только тогда он может оказать полезное действие. Отсюда вытекает общее правило, что все исцеляется своею противоположностью, ибо только боль врачует боль.

О пьянстве

Сократ говорил, что главная задача мудрости в том, чтобы различать добро и зло; то же самое и мы, в чьих глазах нет безгрешных, должны сказать об умении различать пороки, ибо без этого точного знания нельзя отличить добродетельного человека от злодея.

Среди других прегрешений пьянство представляется мне пороком особенно грубым и низменным. В других пороках больше участвует ум; существуют даже пороки, в которых, если можно так выразиться, имеется оттенок благородства. Есть пороки, связанные со знанием, с усердием, с храбростью, с проницательностью, с ловкостью и хитростью; но что касается пьянства, то это порок насквозь телесный и материальный. Поэтому самый грубый из всех ныне существующих народов — тот, у которого особенно распространен этот порок. Другие пороки притупляют разум, пьянство же разрушает его и поражает тело. Наихудшее состояние человека — это когда он перестает сознавать себя и владеть собой.

Что касается меня, то врагом этого порока является не столько мой разум, сколько мой нрав

и мои вкусы. Ибо я действительно нахожу, что пьянство — бессмысленный и низкий порок, однако менее злостный и вредный, чем другие, подтачивающие самые устои человеческого общества. И хотя нет, как полагают, такого удовольствия, которое мы могли бы доставить себе так, чтобы оно нам ничего не стоило, я все же нахожу, что этот порок менее отягчает нашу совесть, чем другие, не говоря уже о том, что он не требует особых ухищрений и его проще всего удовлетворить, что также должно быть принято в соображение.

Один весьма почтенный и пожилой человек говорил мне, что в число трех главных оставшихся ему в жизни удовольствий входит выпивка. Но она не шла ему впрок: в этом деле надо избегать изысканности и нельзя быть чересчур разборчивым в выборе вина. Если вы хотите получать от вина наслаждение, смиритесь с тем, что оно иногда будет вам не вкусно. Надо иметь и более грубый, и более разнообразный вкус. Кто желает быть настоящим выпивохой, должен отказаться от тонкого вкуса. Немцы, например, почти с одинаковым удовольствием пьют всякое вино. Они хотят влить в себя побольше, а не лакомиться вином. Это вещь более достижимая.

Удовольствие немцев в том, чтобы вина было вволю, чтобы оно было доступным. Что касается французской манеры пить, то прикладываться к бутылке дважды в день за едой, умеренно, опасаясь за здоровье, — значит лишать себя многих милостей Вакха. Тут нужно больше постоянства, больше пристрастия. Древние предавались этому занятию ночи напролет, прибавляя часто сверх того еще и дни. И, действительно, надо, чтобы обычная порция вина была и более обильной и более постоянной. Я знавал некоего сановника, на редкость удачливого во всех своих великих начинаниях, который без труда выпивал во время своих обычных трапез не менее двадцати пинт вина и после этого становился только более проницательным и искусным в решении сложных дел. Удовольствие, которое мы хотим познать в жизни, должно занимать в ней побольше места.

Нельзя упускать ни одного представляющегося случая выпить и следует всегда помнить об одном желании, надо походить в этом отношении на рассыльных из лавки или мастеровых. Похоже на то, что мы с каждым днем ограничиваем наше повседневное потребление вина и что раньше в наших домах, как я наблюдал в детстве, всякие угощения и возлияния были куда более

частыми и обычными, чем в настоящее время. Значит ли это, что мы в каких-то отношениях идем к лучшему? Отнюдь нет! Это значит только, что мы в гораздо большей степени, чем наши отцы, ударились в распутство. Ведь невозможно предаваться с одинаковой силой и распутству, и страсти к вину. Воздержание от вина, с одной стороны, ослабляет наш желудок, а с другой — делает нас дамскими угодниками, более падкими к любовным утехам.

Докуки старости, нуждающейся в опоре и каком-то освежении, с полным основанием могли бы внушить мне желание обладать умением пить, ибо это одна из последних радостей, которые остаются после того, как убегающие годы украли у нас одну за другой все остальные. Знающие толк в этом деле собутыльники говорят, что естественное тепло прежде всего появляется в ногах: оно сродни детству. По ногам оно поднимается вверх, в среднюю область, и, водворясь здесь надолго, является источником, на мой взгляд, единственных, подлинных плотских радостей (другие наслаждения меркнут по сравнению с ними). Под конец, подобно поднимающемуся и оседающему пару, оно достигает нашей глотки и здесь делает последнюю остановку.

Однако я не могу представить себе, как можно продлить удовольствие от питья, когда пить уже больше не хочется, и как можно создать себе воображением искусственное и противоестественное желание пить. Мой желудок был бы не способен на это: он может вместить только то, что ему необходимо. У меня привычка пить только после еды, и поэтому я под конец почти всегда пью самый большой бокал. Анахарсис удивлялся, что греки к концу трапезы пили из более объемистых чаш, чем в начале ее. Я полагаю, что это делалось по той же причине, по какой так поступают немцы, которые к концу начинают состязание — кто выпьет больше. Платон запрещал детям пить вино до восемнадцатилетнего возраста и запрещал напиваться ранее сорока лет; тем же, кому стукнуло сорок, он предписывает наслаждаться вином вволю и щедро приправлять свои пиры дарами Диониса, этого доброго бога, возвращающего людям веселье и юность старцам, укрощающего и усмиряющего страсти, подобно тому, как огонь плавит железо. В своих «Законах» он считает такие пирушки полезными (лишь бы для наведения порядка был распорядитель застолья, сдерживающий остальных), ибо опьянение — это хорошее и верное испытание натуры

всякого человека; оно, как ничто другое, способно придать пожилым людям смелость пуститься в пляс или затянуть песню, чего они не решились бы сделать в трезвом виде. Вино способно придать душе выдержку, телу здоровье.

И все же Платон одобряет следующие ограничения, частью заимствованные им у карфагенян: «Следует отказаться от вина в военных походах; всякому должностному лицу и всякому судье надо воздерживаться от вина при исполнении своих обязанностей и решении государственных дел; выпивке не следует посвящать ни дневных часов, отведенных для других занятий, ни той ночи, когда хотят дать жизнь потомству».

О дружбе

Нет, кажется, ничего, к чему бы природа толкала нас более, чем к дружескому общению. И Аристотель указывает, что хорошие законодатели пекутся больше о дружбе, нежели о справедливости. Ведь высшая ступень ее совершенства — это и есть справедливость. Ибо, вообще говоря, всякая дружба, которую порождают и питают наслаждение или выгода, нужды частные или общественные, тем менее прекрасна и благородна и тем менее является истинной дружбой, чем больше посторонних самой дружбе причин, соображений и целей примешивают к ней.

Равным образом не совпадают с дружбой и те четыре вида привязанности, которые были установлены древними: родственная, общественная, налагаемая гостеприимством и любовная, — ни каждая в отдельности, ни все вместе взятые.

Что до привязанности детей к родителям, то это скорей уважение. Дружба питается такого рода общением, которого не может быть между ними в силу слишком большого неравенства в летах, и к тому же она мешала бы иногда выполнению детьми их естественных обязанностей.

Ибо отцы не могут посвящать детей в свои самые сокровенные мысли, не порождая тем самым недопустимой вольности, как и дети не могут обращаться к родителям с предупреждениями и увещаниями, что есть одна из первейших обязанностей между друзьями. Существовали народы, у которых, согласно обычаю, дети убивали своих отцов, равно как и такие, у которых, напротив, отцы убивали детей, как будто бы те и другие в чем-то мешали друг другу и жизнь одних зависела от гибели других. Бывали также философы, питавшие презрение к этим естественным узам, как, например, Аристипп; когда ему стали доказывать, что он должен любить своих детей хотя бы уже потому, что они родились от него, он начал плеваться, говоря, что эти плевки тоже его порождение и что мы порождаем также вшей и червей. А другой философ, которого Плутарх хотел примирить с братом, заявил: «Я не придаю большого значения тому обстоятельству, что мы оба вышли из одного и того же отверстия». А между тем слово «брат» — поистине прекрасное слово, выражающее глубокую привязанность и любовь, но общность имущества, разделы его и то, что богатство одного есть в то же время бедность другого, все это до крайности ослабляет и

уродует кровные связи. Стремясь увеличить свое благосостояние, братья вынуждены идти одним шагом и одною тропой, поэтому они волей-неволей часто сталкиваются и мешают друг другу.

Кроме того, почему им должны быть обязательно свойственны то соответствие склонностей и душевное сходство, которые только одни и порождают истинную и совершенную дружбу? Отец и сын по свойствам своего характера могут быть весьма далеки друг от друга; то же и братья. Это мой сын, это мой отец, но вместе с тем это человек жестокий, злой или глупый. И затем, поскольку подобная дружба предписывается нам законом или узами, налагаемыми природой, здесь гораздо меньше нашего выбора и свободной воли, а между тем ничто не является в такой мере выражением нашей свободной воли, как привязанность и дружба.

Никак нельзя сравнивать с дружбой или уподоблять ей любовь к женщине, хотя такая любовь и возникает из нашего свободного выбора. Ее пламя, охотно признаюсь в этом, более неотступно, более жгуче и томительно. Но это — пламя безрассудное и летучее, непостоянное и переменчивое, это — лихорадочный жар, то затухающий, то вспыхивающий с новой силой и гнездящийся

лишь в одном уголке нашей души. В дружбе же — теплота общая и всепроникающая, умеренная, сверх того, ровная, теплота постоянная и устойчивая, сама приятность и ласка, в которой нет ничего резкого и ранящего. Больше того, любовь — неистовое влечение к тому, что убегает от нас.

Как только такая любовь переходит в дружбу, то есть в согласие желаний, она чахнет и угасает. Наслаждение, сводясь к телесному обладанию и потому подверженное пресыщению, убивает ее. Дружба, напротив, становится тем желаннее, чем полнее мы наслаждаемся ею; она растет, питается и усиливается лишь благодаря тому наслаждению, которое доставляет нам, и так как наслаждение это — духовное, то душа, предаваясь ему, возвышается. Наряду с этой совершенною дружбой и меня захватывали порой эти мимолетные увлечения; я не говорю о том, что подвержен им был и мой друг, который весьма откровенно в этом признается в своих стихах. Таким образом, обе эти страсти были знакомы мне, отлично уживаясь между собой в моей душе, но никогда они не были для меня соизмеримы: первая величаво и горделиво совершала свой подобный полету путь, поглядывая презрительно на вторую, копошившуюся где-то внизу, вдалеке от нее.

Что касается брака, то, — не говоря уж о том, что он является сделкой, которая бывает добровольной лишь в тот момент, когда ее заключают (ибо длительность ее навязывается нам принудительно и не зависит от нашей воли), и, сверх того, сделкой, совершаемой обычно совсем в других целях, — в нем бывает еще тысяча посторонних обстоятельств, в которых трудно разобраться, но которых вполне достаточно, чтобы оборвать нить и нарушить развитие живого чувства. Между тем, в дружбе нет никаких иных расчетов и соображений, кроме нее самой. Добавим к этому, что, по правде говоря, обычный уровень женщин отнюдь не таков, чтобы они были способны поддерживать ту духовную близость и единение, которыми питается этот возвышенный союз; да и душа их, по-видимому, не обладает достаточной стойкостью, чтобы не тяготиться стеснительностью столь прочной и длительной связи. И, конечно, если бы это не составляло препятствий и если бы мог возникнуть такой добровольный и свободный союз, в котором не только души вкушали бы это совершенное наслаждение, но и тела тоже его разделяли, союз, которому человек отдавался бы безраздельно, то несомненно, что и дружба в нем была бы еще полнее и безуслов-

нее. Но ни разу еще слабый пол не показал нам примера этого, и, по единодушному мнению всех философских школ древности, женщин здесь приходится исключить.

Распущенность древних греков в любви, имеющая совсем особый характер, при наших нынешних нравах справедливо внушает нам отвращение. Но, кроме того, эта любовь, согласно принятому у них обычаю, неизбежно предполагала такое неравенство в возрасте и такое различие в общественном положении между любящими, что ни в малой мере не представляла собой того совершенного единения и соответствия, о которых мы здесь говорим. И даже то изображение этой любви, которое дает Академия, не отнимает, как я полагаю, у меня права сказать со своей стороны следующее: когда сын Венеры поражает впервые сердце влюбленного страстью к предмету его обожания, пребывающему во цвете своей нежной юности, — по отношению к которой греки позволяли себе любые бесстыдные и пылкие домогательства, какие только может породить безудержное желание, — то эта страсть может иметь своим основанием исключительно внешнюю красоту, только обманчивый образ телесной сущности. Ибо о духе тут не могло быть и речи,

поскольку он не успел еще обнаружить себя, поскольку он только еще зарождается и не достиг той поры, когда происходит его созревание.

Если такой страстью воспламенялась низменная душа, то средствами, к которым она прибегала для достижения своей цели, были богатство, подарки, обещание впоследствии обеспечить высокие должности и прочие низменные приманки, которые порицались философами. Если же она западала в более благородную душу, то и приемы завлечения были более благородными, а именно: наставления в философии, увещания чтить религию, повиноваться законам, отдать жизнь, если понадобится, за благо родины, беседы, в которых приводились образцы доблести, благоразумия, справедливости; при этом любящий прилагал всяческие усилия, дабы увеличить свою привлекательность добрым расположением и красотой своей души, понимая, что красота его тела увяла уже давно, и надеясь с помощью этого умственного общения установить более длительную и прочную связь с любимым. И когда усилия после долгих старании увенчивались успехом (ибо, если от любящего и не требовалось осторожности и осмотрительности в выражении чувств, то эти качества обязательно требова-

лись от любимого, которому надлежало оценить внутреннюю красоту, обычно неясную и трудно различимую), тогда в любимом рождалось желание духовно зачать от духовной красоты любящего. Последнее для него было главным, а плотское — случайным и второстепенным, тогда как у любящего все было наоборот.

Именно по этой причине любимого древние философы ставили выше, утверждая, что и боги придерживаются того же. По этой же причине порицали они Эсхила, который, изображая любовь Ахилла к Патроклу, отвел роль любящего Ахиллу, хотя он был безбородым юношей, только-только вступившим в пору своего цветения и к тому же прекраснейшим среди греков. Поскольку в том целом, которое представляет собой такое содружество, главная и наиболее достойная сторона выполняет свое назначение и господствует, оно, по их словам, порождает плоды, приносящие огромную пользу как отдельным лицам, так и всему обществу; они говорят, что именно в этом заключалась сила тех стран, где был принят этот обычай, что он был главным оплотом равенства и свободы и что свидетельством этого является столь благодетельная любовь Гармодия и Аристогитона. Они называют ее поэтому божественной

и священной. И лишь произвол тиранов и трусость народов могут, по их мнению, противиться ей. В конце концов, все, что можно сказать в оправдание Академии, сводится лишь к тому, что эта любовь заканчивалась подлинной дружбой, а это не так уже далеко от определения любви стоиками.

Возвращаюсь к моему предмету, к дружбе более естественной и не столь неравной.


~ CAFE CARDINAL ~

Дом, в котором Монтень жил в Бордо. Современный вид.

Вся жизнь Монтеня была связана с его родной областью Гиень, главный город которой — Бордо на берегу реки Гаронны. Эта область, вошедшая в состав Франции после Столетней войны, славилась не только своим виноделием, но и давними традициями свободомыслия. Бордо был городом, где, благодаря морской торговле, мирно сосуществовали многие национальности и религии. В 1580-е годы Монтеня дважды избирали мэром Бордо.

Когда Лелий в присутствии римских консулов, подвергших преследованиям, после осуждения Тиберия Гракха, всех единомышленников последнего, приступил к допросу Гая Блоссия — а он был одним из ближайших его друзей — и спросил его, на что он был бы готов ради Гракха, тот ответил: «На все». — «То есть, как это на все? — продолжал допрашивать Лелий. — А если бы он приказал тебе сжечь наши храмы?» — «Он не приказал бы мне этого», — возразил Блоссий. «Ну, а если бы он все-таки это сделал?» — настаивал Лелий. «Я бы повиновался ему», — сказал Блоссий. Будь он и в самом деле столь совершенным другом Гракха, как утверждают историки, ему все же

незачем было раздражать консулов своим смелым признанием; ему не следовало, кроме того, отступаться от своей уверенности в невозможности подобного приказания со стороны Гракха. Во всяком случае, те, которые осуждают этот ответ как мятежный, не понимают по-настоящему тайны истинной дружбы и не могут постичь того, что воля Гракха была его волей, что он знал ее и мог располагать ею. Они были больше друзьями, чем гражданами, больше друзьями, чем друзьями или недругами своей страны, чем друзьями честолюбия или смуты. Полностью вверив себя друг другу, каждый из них полностью управлял склонностями другого, ведя их как бы на поводу, и поскольку они должны были идти в этой запряжке, руководствуясь добродетелью и велениями разума, — ибо иначе взнуздать их было бы невозможно, — ответ Блоссия был таким, каким надлежало быть. Если бы их поступки не были сходными, они, согласно тому мерилу, которым я пользуюсь, не были бы друзьями ни друг другу, ни самим себе.

Замечу, что ответ Блоссия звучал так же, как звучал бы мой, если бы кто-нибудь обратился ко мне с вопросом: «Убили бы вы свою дочь, если бы ваша воля приказала вам это?», и я ответил бы

утвердительно. Такой ответ не свидетельствует еще о готовности к этому, ибо у меня нет никаких сомнений в моей воле, так же как и в воле такого друга. Никакие доводы в мире не могли бы поколебать моей уверенности в том, что я знаю волю и мысли моего друга. В любом его поступке, в каком бы виде мне его ни представили, я могу тотчас же разгадать побудительную причину. Наши души были столь тесно спаяны, они взирали друг на друга с таким пылким чувством и, отдаваясь этому чувству, до того раскрылись одна перед другой, обнажая себя до самого дна, что я не только знал его душу, как свою собственную, но и поверил бы ему во всем, касающемся меня, больше, чем самому себе.

Пусть не пытаются уподоблять этой дружбе обычные дружеские связи. Я знаком с ними так же, как всякий другой, и притом с самыми глубокими из них. Не следует, однако, смешивать их с истинной дружбой: делающий так впал бы в большую ошибку. В этой обычной дружбе надо быть всегда начеку, не отпускать узды, проявлять всегда сдержанность и осмотрительность, ибо узы, скрепляющие подобную дружбу, таковы, что могут в любое мгновение оборваться. «Люби своего друга, — говорил Хилон, — так, как если бы

тебе предстояло когда-нибудь возненавидеть его; и ненавидь его так, как если бы тебе предстояло когда-нибудь полюбить его».

Это правило, которое кажется отвратительным, когда речь идет о возвышенной, всепоглощающей дружбе, весьма благодетельно в применении к обыденным, ничем не замечательным дружеским связям, в отношении которых весьма уместно вспомнить излюбленное изречение Аристотеля: «О, друзья мои, нет больше ни одного друга!».

О богатстве и бедности

С тех пор как я вышел из детского возраста, я испытал три рода условий существования. Первое время, лет до двадцати, я прожил, не имея никаких иных средств, кроме случайных, без определенного положения и дохода, завися от чужой воли и помощи. Я тратил деньги беззаботно и весело, тем более что количество их определяла прихоть судьбы. И все же никогда я не чувствовал себя лучше. Ни разу не случилось, чтобы кошельки моих друзей оказались для меня туго завязанными.

Главнейшей моей заботой я считал в те времена заботу о том, чтобы не пропустить срока, который я сам назначил, чтобы расплатиться. Этот срок, впрочем, они продлевали, может быть, тысячу раз, видя усилия, которые я прилагал, чтобы вовремя рассчитаться с ними; выходит, что я платил им со щепетильною и, вместе с тем, несколько плутоватою честностью. Погашая какой-нибудь долг, я испытываю всякий раз настоящее наслаждение: с моих плеч сваливается тяжелый груз, и я избавляюсь от сознания своей зависимости. К тому же, мне доставляет неко-

торое удовольствие мысль, что я делаю нечто справедливое и удовлетворяю другого. Сюда, конечно, не относятся платежи, сопряженные с расчетами и необходимостью торговаться, так как если нет никого, на кого можно было бы свалить эту обузу, я, к стыду своему, не вполне добросовестным образом оттягиваю их елико возможно; я смертельно боюсь всяких препирательств, к которым ни склад моего характера, ни мой язык никоим образом не приспособлены.

Для меня нет ничего более ненавистного, чем торговаться: это сплошное надувательство и бесстыдство; после целого часа споров и жульничества обе стороны нарушают раньше данное ими слово ради каких-нибудь пяти су. Вот почему условия, на которых я занимал, бывали обычно невыгодными; не решаясь попросить денег при личном свидании, я обычно прибегал в таких случаях к письменным сношениям, а бумага — не очень хороший ходатай и часто соблазняет руку на отказ. Я гораздо охотнее и с более легким сердцем доверял в ту пору ведение моих дел счастливой звезде, чем доверяю их теперь своей предусмотрительности и здравому смыслу.

Большинство хороших хозяев считает чем-то ужасным жить в такой неопределенности; но, во-

первых, они упускают из виду, что большинство людей живет именно таким образом. Сколько весьма почтенных людей жертвовало своей уверенностью в завтрашнем дне и продолжает каждодневно делать то же самое в надежде на королевское благоволение и на милости фортуны. Цезарь, чтобы сделаться Цезарем, издержал, помимо своего имущества, еще миллион золотом, взятый им в долг.

Во-вторых, эти хорошие хозяева забывают также о том, что обеспеченность, на которую они хотят опереться, столь же неустойчива и столь же подвержена разного рода случайностям, как и сам случай. Имея две тысячи экю годового дохода, я вижу себя столь близким к нищете, как если бы она уже стучалась ко мне в дверь. Ибо судьбе ничего не стоит пробить сотню брешей в нашем богатстве, открыв тем самым путь нищете, и нередко случается, что она не допускает ничего среднего между величайшим благоденствием и полным крушением. И поскольку она сметает все наши шанцы и бастионы, я считаю, что нужда столь же часто по разным причинам бывает гостьей как тех, кто обладает значительным состоянием, так и тех, кто не имеет его; и подчас она менее тягостна, когда встречается сама по

себе, чем когда мы видим ее бок о бок с богатством. Последнее создается не столько большими доходами, сколько правильным ведением дел. Озабоченный, вечно нуждающийся и занятый по горло делами богач кажется мне еще более жалким, чем тот, кто попросту беден.

Нужда и отсутствие денежных средств побуждали самых могущественных и богатых властителей к крайностям всякого рода. Ибо что может быть большею крайностью, чем превращаться в тиранов и бесчестных насильников, присваивающих достояние своих подданных?

Второй период моей жизни — это то время, когда у меня завелись свои деньги. Получив возможность распоряжаться ими по своему усмотрению, я в короткий срок отложил довольно значительные, сравнительно с моим состоянием, сбережения, считая, что по-настоящему мы имеем лишь то, чем располагаем сверх наших обычных издержек и что нельзя полагаться на те доходы, которые мы только надеемся получить, какими бы верными они нам не казались. «А вдруг, — говорил я себе, — меня постигнет та или другая случайность?»

Находясь во власти этих пустых и нелепых мыслей, я думал, что поступаю благоразумно,

откладывая излишки, которые должны были выручить меня в случае затруднений. И тому, кто указывал мне на то, что таким затруднениям нет числа, я отвечал, не задумываясь, что если это и не избавит меня от всех трудностей, то предохранит, по крайней мере, от некоторых и притом весьма многих. Дело не обходилось без мучительных волнений. Я из всего делал тайну. Я, который позволяю себе рассказывать так откровенно о себе самом, говорил о своих средствах, многое утаивая, неискренне, следуя примеру тех, кто, обладая богатством, прибедняется, а будучи бедным, изображает себя богачом, но никогда не признается по совести, чем он располагает в действительности. Смешная и постыдная осторожность!

Отправлялся ли я в путешествие, мне постоянно казалось, что у меня недостаточно при себе денег. Но чем больше денег я брал с собой, тем больше возрастали мои опасения: то я сомневался, насколько безопасны дороги, то — можно ли доверять честности тех, кому я поручил мои вещи, за которые, подобно многим другим, я никогда не бывал спокоен, если только они не были у меня перед глазами. Если же шкатулку с деньгами я держал при себе, — сколько подозрений,

сколько тревожных мыслей и, что самое худшее, — таких, которыми ни с кем не поделишься! Я был всегда настороже. В общем, уберечь свои деньги стоит больших трудов, чем добыть их. Если, бывало, я и не испытывал всего того, о чем здесь рассказываю, то каких трудов мне стоило удержаться от этого!

О своем удобстве я заботился мало или совсем не заботился. От того, что я получил возможность тратить деньги свободнее, я не стал расставаться с ними с более легкой душой. Ибо, как говорил Бион, волосатый злится не меньше плешивого, когда его дерут за волосы. Как только вы приучили себя к мысли, что обладаете той или иной суммой, и твердо это запомнили, — вы уже больше не властны над ней, и вам страшно хоть сколько-нибудь из нее израсходовать. Вам все будет казаться, что перед вами строение, которое разрушится до основания, стоит вам лишь прикоснуться к нему. Вы решитесь начать расходовать эти деньги только в случае, если вас схватит за горло нужда. И в былое время я с большею легкостью закладывал свои пожитки или продавал верховую лошадь, чем теперь позволял себе прикоснуться к заветному кошельку, который я хранил в потайном месте. И хуже всего

то, что нелегко положить себе в этом предел (ведь всегда бывает трудно установить границу того, что считаешь благом) и остановиться на должной черте в своем скопидомстве. Накопленное богатство невольно стараешься все время увеличить и приумножить, не беря из него чего-либо, а прибавляя, вплоть до того, что позорно отказываешься от пользования в свое удовольствие своим же добром, которое хранишь под спудом, без всякого употребления.

Если так распоряжаться своим богатством, то самыми богатыми людьми придется назвать тех, кому поручено охранять ворота и стены какого-нибудь богатого города. Всякий денежный человек, на мой взгляд, — скопидом.

Платон в следующем порядке перечисляет физические и житейские блага человека: здоровье, красота, сила, богатство. И богатство, говорит он, вовсе не слепо; напротив, оно весьма прозорливо, когда его освещает благоразумие.

Здесь уместно вспомнить о Дионисии Младшем, который весьма остроумно подшутил над одним скрягою. Ему сообщили, что один из его сиракузцев закопал в землю сокровища. Дионисий велел ему доставить их к нему во дворец, что тот и сделал, утаив, однако, некоторую их часть;

а затем, забрав с собой припрятанную им долю, этот человек переселился в другое место, где, потеряв вкус к накоплению денег, начал жить на более широкую ногу. Услышав об этом, Дионисий приказал возвратить ему отнятую у него часть сокровищ, сказав, что, поскольку человек этот научился, наконец, пользоваться ими как подобает, он охотно возвращает ему отобранное.

И я в течение нескольких лет был таким же. Не знаю, какой добрый гений вышиб, на мое счастье, весь этот вздор из моей головы, подобно тому как это случилось и с сиракузцем. Забыть начисто о скопидомстве помогло мне удовольствие, испытанное во время одного путешествия, сопряженного с большими издержками.

С той поры я перешел уже к третьему по счету образу жизни — так, по крайней мере, мне представляется, — несомненно более приятному и упорядоченному. Мои расходы я соразмеряю с доходами; если порою первые превышают вторые, а порою бывает наоборот, то все же большого расхождения между ними я не допускаю. Я живу себе потихоньку и доволен тем, что моего дохода вполне хватает на мои повседневные нужды; что же до нужд непредвиденных, то тут человеку не хватит и богатств всего мира. Глупостью

было бы ждать, чтобы фортуна сама вооружила нас навсегда для защиты от ее посягательств. Бороться с нею мы должны своим собственным оружием. Случайное оружие всегда может изменить в решительную минуту. Если я иной раз и откладываю деньги, то лишь в предвидении какого-нибудь крупного расхода в ближайшем времени, не для того чтобы купить себе землю (с которою мне нечего делать), а чтобы купить удовольствие. Я не испытываю ни опасений, что мне не хватит моего состояния, ни желания, чтобы оно у меня увеличилось.

Итак, и довольство и бедность зависят от представления, которое мы имеем о них; сходным образом и богатство, равно как и слава или здоровье, прекрасны и привлекательны лишь настолько, насколько таковыми находят их те, кто пользуется ими. Каждому живется хорошо или плохо в зависимости от того, что он сам по этому поводу думает. Доволен не тот кого другие мнят довольным, а тот, кто сам мнит себя таковым. И вообще, истинным и существенным тут можно считать лишь собственное мнение данного человека.

О трусости

Я часто слышал пословицу: трусость — мать жестокости. Мне действительно приходилось наблюдать на опыте, что чудовищная, бесчеловечная жестокость нередко сочетается с женской чувствительностью. Я встречал необычайно жестоких людей, у которых легко было вызвать слезы и которые плакали по пустякам. Тиран города Феры Александр не мог спокойно сидеть в театре и смотреть трагедию из опасения, как бы его сограждане не услышали его вздохов по поводу страданий Гекубы или Андромахи, в то время, как сам он, не зная жалости, казнил ежедневно множество людей.

Почему тираны так кровожадны? Не потому ли, что они заботятся о своей безопасности? Не потому ли, что их трусость видит лучшее средство избавиться от опасности в том, чтобы истребить всех, вплоть до женщин, кто только способен встать против них, кто может нанести им хотя бы малейший ущерб?

Первые жестокости совершаются ради них самих, но они порождают страх перед справедливым возмездием, который влечет за собой

полосу новых жестокостей с целью затмить одни зверства другими. Македонский царь Филипп, у которого было столько свар с римским народом, напуганный тем, что совершенные по его приказанию убийства вызвали общий ужас и величайшее волнение, и не зная, как обезопасить себя от такой массы потерпевших от него в разное время людей, решил арестовать детей всех убитых и день за днем приканчивать их, чтобы таким путем добиться успокоения.

В числе осужденных Филиппом был фессалийский князь Геродик. Вслед за ним Филипп умертвил еще и двух его зятьев, каждый из которых оставил после себя малолетнего сына. Теоксена и Архо — так звали двух оставшихся вдов. Теоксену никак не удавалось уговорить вторично выйти замуж, несмотря на самые настойчивые ухаживания. Архо вышла замуж за самого знатного человека среди энийцев, Пориса, и имела от него много детей, которые после ее смерти остались малолетними. Охваченная материнской жалостью к несчастным детям своей сестры, Теоксена, желая взять их под свое попечение и воспитать их, вышла замуж за Пориса. К этому времени был издан упомянутый выше указ Филиппа об аресте детей. Отважная

Теоксена, опасаясь жестокости Филиппа и его разнузданных приближенных, способных на все по отношению к этим юным и прелестным детям, осмелилась заявить, что она лучше убьет их собственными руками, чем отдаст палачам. Испуганный ее словами, Порис обещал спрятать их и затем увезти в Афины, чтобы там отдать на попечение преданным друзьям.

Они воспользовались ежегодным праздником, который справлялся в Эносе в честь Энея, и отправились туда всей семьей. Днем они присутствовали на праздничных обрядах и на общем пиру, а ночью сели в приготовленную заранее лодку, чтобы добраться морем до Афин. Противный ветер помешал им, и наутро, очутившись неподалеку от того места, откуда они вчера отплыли, они были замечены портовой стражей. Когда их вот-вот должны были схватить, Порис попытался убедить гребцов удвоить свои усилия, чтобы ускользнуть от преследователей, а Теоксена, потеряв голову от любви к своим детям и жажды мести, вернулась к своему первоначальному намерению и стала готовить оружие и яд. Затем, показав все это детям, она сказала: «Дети, у меня осталось только одно средство защитить вас и сохранить вам свободу — это заставить вас

умереть. Боги, внемля священному правосудию, рассудят это дело. В случае, если мечи изменят вам, эти чаши откроют вам двери в тот мир. Будьте мужественны! Ты же, сын мой, так как ты старше всех, сам вонзи себе этот кинжал себе в грудь, чтобы умереть смертью храбрых».

Дети, видя перед собой мать, бесстрашно призывавшую их скорее покончить с собой, и имея позади себя настигавших их врагов, бросились грудью на те лезвия, которые были к ним ближе всего, и полумертвыми были сброшены в море.

Теоксена, счастливая тем, что ей удалось так геройски спасти всех своих детей, горячо обняла своего мужа и сказала: «Последуем, друг мой, за нашими детьми! Пусть будет у нас с тобой та радость, что мы окажемся с ними в одной могиле». И, обнявшись, они бросились в море, так что когда лодку подтащили к берегу, она была пуста.

Тираны, стремясь чинить две жестокости одновременно — убивать и вымещать свой гнев, — прилагают все усилия к тому, чтобы по возможности продлить казнь. Они жаждут гибели своих врагов, но не хотят их скорой смерти; им нужно не упустить возможности насладиться местью. Из-за этого они оказываются в затруднительном положении, ибо, если мучения

нестерпимы, они коротки, если же они продолжительны, то тираны их считают недостаточно сильными; и вот они начинают разнообразить орудия пытки. Тысячи подобных примеров мы встречаем в древности, и я не уверен, не сохраняем ли мы в себе, сами того не сознавая, некоторых следов этого варварства.

Все, что выходит за пределы обычной смерти, я считаю неоправданной жестокостью; наше правосудие не может рассчитывать на то, что тот, кого не удерживает от преступления страх смерти, не совершит его из страха перед смертью на медленном огне или посредством колесования или из боязни колодок. И все же я не уверен, доводим ли мы таким путем осужденных до полного отчаяния. Действительно, каково должно быть душевное состояние человека, ожидающего смерти, подвергнутого колесованию или, по старинному обычаю, пригвожденному к кресту? Иосиф рассказывает, что во время иудейской войны, проходя мимо одного места, где за три дня до того распяли нескольких евреев, он узнал среди них троих своих друзей, и ему удалось добиться того, что их сняли с крестов; двое из них, сообщает он, умерли, третий же прожил после этого еще несколько лет.

Халкондил, автор, заслуживающий доверия, в записках, оставленных им о событиях, происшедших на его памяти и часто на его глазах, описывает как самую чудовищную ту казнь, которую нередко применял султан Мехмед: он приказывал одним ударом кривой турецкой сабли рассечь человека пополам по линии диафрагмы, так что люди умирали как бы двумя смертями одновременно; можно было видеть, рассказывает он, как обе части тела, полные жизни, продолжали еще некоторое время трепетать в муках. Не думаю, чтобы это было придумано им очень умно. Не всегда те казни, которые выглядят самыми страшными, являются самыми мучительными.

Я нахожу несравненно более жестокой ту казнь, которую тот же Мехмед, по словам некоторых историков, применял к эпирским князьям: он приказывал сдирать с них заживо кожу частями, и таким коварно придуманным способом, что они мучились в течение двух недель.

А вот еще два примера. Когда Крез захватил одного вельможу, любимца своего брата, Панталеонта, он велел отвести пленника в мастерскую валяльщика, где приказал до тех пор скрести его скребками и чесать чесальными орудиями, пока

тот не скончался.

Георгии Секей, вождь тех польских крестьян, которые под предлогом крестового похода причинили массу бедствий, был разбит трансильванским воеводой и захвачен в плен. Целых три дня, раздетый донага, он был привязан к особым козлам для пыток, и всякий мог терзать его и издеваться над ним, как ему вздумается; за все это время остальным пленникам не давали ни есть, ни пить. Наконец, когда в нем теплилась еще жизнь, на его глазах его собственной кровью напоили его любимого брата Луку, о спасении которого он молил, принимая на себя одного вину за все совершенные ими дела. Его тело, изрубленное на мелкие куски, были вынуждены съесть двадцать его ближайших помощников; а то, что еще оставалось, и его внутренности сварили в котле и скормили остальным членам его отряда.

О жестокости

Всякая смерть должна соответствовать жизни человека. Умирая, мы остаемся такими же, какими были в жизни. Я всегда нахожу объяснение смерти данного человека в его жизни. И, когда мне рассказывают о стойком по видимости конце человека, проведшего вялую жизнь, я считаю, что он был вызван какой-либо незначительной причиной, соответствующей жизни этого человека.

Можно ли сказать, что легкость, с которой шел к смерти Катон, и та непринужденность, которой он достиг силой своего духа, должны как-то умалить красоту его добродетели? Кто из людей, хоть в малейшей степени причастных к истинной философии, может себе представить, что Сократ, когда на него обрушились осуждение, оковы и темница, всего-навсего лишь не испытал страха и оставался невозмутим? Кто не согласится признать, что он проявил не только стойкость и уверенность в себе (таково было его обычное состояние), но что в его последних словах и действиях сказались какое-то радостное веселие и совершенно новая удовлетворенность? Не доказывает ли то содрогание от удовольствия, которое

он испытал от возможности почесать себе ногу, когда с нее сняли оковы, что подобная же радость была в его душе при мысли, что он освобождается от всех злоключений прошлого и находится на пороге познания будущего? Да простит меня Катон: его смерть была более стремительной и более трагической, но в смерти Сократа есть нечто более невыразимо прекрасное. Аристипп говорил тем, кто сожалел о ней: «Да ниспошлют боги и мне такую смерть!»

Что касается меня, скажу, что я не жалею мертвецов, я скорее готов им завидовать, но от души жалею людей, находящихся при смерти. Меня возмущают не те дикари, которые жарят и потом едят покойников, а те, которые мучают и преследуют живых людей.

Мне приходится жить в такое время, когда вокруг нас хоть отбавляй примеров невероятной жестокости, вызванных разложением, порожденным нашими гражданскими войнами; в старинных летописях мы не найдем рассказов о более страшных вещах, чем те, что творятся сейчас у нас каждодневно. Однако это ни в какой степени не приучило меня к жестокости, не заставило с нею свыкнуться. Я не в состоянии был поверить, пока не увидел сам, что существуют

такие чудовища в образе людей, которые готовы убивать ради удовольствия, доставляемого им убийством, которые рады рубить и кромсать на части тела других людей и изощряться в придумывании необыкновенных пыток и смертей; при этом они не получают от этого никаких выгод и не питают вражды к своим жертвам, а поступают так только ради того, чтобы насладиться приятным для них зрелищем умирающего в муках человека, чтобы слышать его жалобные стоны и вопли.

Что касается меня, то мне всегда было тягостно наблюдать, как преследуют и убивают невинное животное, беззащитное и не причиняющее нам никакого зла. Я никогда не мог спокойно видеть, как затравленный олень — что нередко бывает, — едва дыша и изнемогая, откидывается назад и сдается тем, кто его преследует, моля их своими слезами о пощаде. Это всегда казалось мне невыносимым зрелищем.

Я никогда не держу у себя пойманных животных и всегда отпускаю их на свободу. Пифагор покупал у рыбаков рыб, а у птицеловов — птиц, чтобы сделать то же самое.

Кровожадные наклонности по отношению к животным свидетельствуют о природной

склонности к жестокости. После того как в Риме привыкли к зрелищу убийства животных, перешли к зрелищам с убийством и осужденных и гладиаторов. Боюсь сказать, но мне кажется, что сама природа наделяет нас неким инстинктом бесчеловечности. Никого не забавляет, когда животные ласкают друг друга или играют между собой, и между тем никто не упустит случая посмотреть, как они дерутся и грызутся.

Но как бы то ни было, все же существует долг гуманности и известное обязательство щадить не только животных, наделенных жизнью и способностью чувствовать, но даже деревья и растения. Мы обязаны быть справедливыми по отношению к другим людям и проявлять милосердие и доброжелательность ко всем другим созданиям, достойным этого. Между нами и ими существует какая-то связь, какие-то взаимные обязательства. Мне не стыдно признаться в такой моей ребяческой слабости: я не в силах отказать моей собаке в прогулке, которую она мне некстати предлагает или которой она от меня требует. У турок существуют больницы и учреждения по оказанию помощи животным. Римляне заботились в общественном порядке о пище для гусей, бдительность которых спасла Капитолий; афи-

няне приняли решение, чтобы мулы, работавшие на постройке храма под названием Гекатомпедон, были выпущены на волю и могли свободно пастись всюду.

У агригентцев существовал обычай по-настоящему хоронить животных, которые были им дороги, например лошадей, отличившихся какими-нибудь редкими качествами, или собак, или полезных птиц, или даже животных, служивших для развлечения их детей. Пристрастие к роскоши, свойственное им и во всякого рода других вещах, особенно ярко проявилось в многочисленных пышных памятниках, воздвигнутых ими животным и сохранявшихся на протяжении многих веков.

Египтяне хоронили волков, медведей, крокодилов, собак и кошек в священных местах, бальзамировали их тела и носили по ним траур.

Кимон устроил торжественные похороны кобылам, которые трижды доставили ему победу в беге колесниц на олимпийских состязаниях. Старый Ксантипп похоронил свою собаку на утесе, высящемся на морском побережье и известном с тех пор под ее именем. Плутарх рассказывает, что ему было бы совестно продать за скромную сумму или послать на бойню вола, который ему

долгое время служил.

О раскаянии

Настоящим пороком нужно считать только такой, который оскорбляет сознание человека и безоговорочно осуждается человеческим разумом, ибо его уродство и вредоносность до того очевидны, что правы, пожалуй, те, кто утверждает, будто он является порождением, в первую очередь, глупости и невежества. Трудно представить себе, чтобы, познакомившись с ним, можно было бы не возненавидеть его. Злоба чаще всего впитывает в себя свой собственный яд и отравляется им. Подобно тому, как язва на теле оставляет после себя рубец, так и порок оставляет в душе раскаяние, которое, постоянно кровоточа, не дает нам покоя. Ибо рассудок, успокаивая другие печали и горести, порождает горечь раскаяния, которая тяжелее всего, так как она точит нас изнутри; ведь жар и озноб, порожденные лихорадкой, более ощутительны, чем действующие на нас снаружи. Я считаю пороками (впрочем, каждый из них измеряется своей меркой) не только то, что осуждается разумом и природой, но и то, что признается пороком в соответствии с представлениями людей, пусть даже ложными

и ошибочными, если законы и обычай подтверждают такую оценку.

Нет, равным образом, ни одного проявления доброты, которое не доставляло бы радости благородному сердцу. Когда творишь добро, сам испытываешь некое радостное удовлетворение и законную гордость, сопутствующие чистой совести. Прочная, но смелая и решительная душа может, при случае, обеспечить себе спокойствие, но познать удовлетворение и удовольствие этого рода ей не дано. А это немалое наслаждение — чувствовать себя огражденным от заразы, распространяемой столь порочным веком, и говорить себе самому: «Кто заглянул бы мне в самую душу, тот и тогда не обвинил бы меня ни в несчастии и разорении кого бы то ни было, ни в мстительности и в зависти, ни в преступлении против законов, ни в жажде перемен или смуты, ни в нарушении слова; и хотя разнузданность нашего времени разрешает все это и учит этому каждого, я никогда не накладывал руку на имущество или на кошелек какого-либо француза, но всегда жил за счет своего собственного, как на войне, так и в мирное время, и никогда не пользовался ничьим трудом без должной его оплаты». Подобные свидетельства совести чрезвычайно

приятны, и эта радость, эта единственная награда, которая никогда не минует нас, — великое благодеяние для души.

Искать опоры в одобрении окружающих, видя в нем воздаяние за добродетельные поступки, значит опираться на то, что крайне шатко и непрочно. А в наше развращенное, погрязшее в невежестве время добрая слава в народе, можно сказать, даже оскорбительна: ведь кому можно доверить оценку того, что именно заслуживает похвалы? Упаси меня бог быть порядочным человеком в духе тех описаний, которые, как я вижу, что ни день каждый сочиняет во славу самому себе.

Иные мои друзья по личному ли побуждению, или вызванные на это мною, не раз принимались с полною откровенностью журить и бранить меня, выполняя ту из своих обязанностей, которая благородной душе кажется не только полезнее, но и приятнее прочих обязанностей, возлагаемых на нас дружбою. Я всегда встречал эти упреки с величайшей терпимостью и искреннейшей признательностью. Но, говоря по совести, я частенько обнаруживал и в их порицаниях и в их восхвалениях такое отсутствие меры, что не допустил бы, полагаю, ошибки, предпочитая

впадать в ошибки, чем проявлять благоразумие на их лад. Нашему брату, живущему частною жизнью, которая на виду лишь у нас самих, особенно нужно иметь перед собой некий образец, дабы равняться на него в наших поступках и, сопоставляя их с ним, то дарить себе ласку, то налагать на себя наказание. Для суда над самим собой у меня есть мои собственные законы и моя собственная судебная палата, и я обращаюсь к ней чаще, чем куда бы то ни было. Сдерживая себя, я руководствуюсь мерою, предуказанной мне другими, но, давая себе волю, руководствуюсь лишь своей мерою. Только вам одному известно, подлы ли вы и жестокосердны, или честны и благочестивы; другие вас вовсе не видят; они составляют себе о вас представление на основании внутренних догадок, они видят не столько вашу природу, сколько ваше умение вести себя среди людей; поэтому не считайтесь с их приговором, считайтесь лишь со своим.

Хотя и говорят, что раскаяние следует по пятам за грехом, мне кажется, что это не относится к такому греху, который предстает перед нами в гордом величии и обитает в нас, как в собственном доме. Можно отринуть и побороть пороки, которые иногда охватывают нас и к которым

нас влекут страсти, но пороки, укоренившиеся и закосневшие вследствие долгой привычки в душе человека с сильной, несгибаемой волей, не допускают противодействия. Раскаяние представляет собой не что иное, как отречение от нашей собственной воли и подавление наших желаний, и оно проявляется самым различным образом. Великолепна та жизнь, которая даже в наиболее частных своих проявлениях всегда и во всем безупречна.

Всякий может фиглярствовать и изображать на подмостках честного человека; но быть порядочным в глубине души, где все дозволено, куда никому нет доступа, — вот поистине вершина возможного. Ближайшая ступень к этому — быть таким же у себя дома, в своих обыденных делах и поступках, в которых мы не обязаны давать кому-либо отчет и где свободны от искусственности и притворства. И вот Биант, изображая идеальный семейный уклад, говорит, что глава семьи должен быть в лоне ее по своему личному побуждению таким же, каков он вне ее из страха перед законами и людскими толками. А Юлий Друз весьма достойно ответил работникам, предлагавшим за три тысячи экю переделать его дом таким образом, чтобы соседи не могли видеть,

как прежде, что происходит за его стенами; он сказал: «Я не пожалею и шести тысяч, но сделайте так, чтобы всякий со всех сторон видел его насквозь». С уважением отмечают обыкновение Агесилая останавливаться во время разъездов по стране в храмах с тем, чтобы люди и самые боги наблюдали его частную жизнь. Бывали люди, казавшиеся миру редкостным чудом, а между тем ни жены их, ни слуги не видели в них ничего замечательного. Лишь немногие вызывали восхищение своих близких.

Как подсказывает опыт истории, никогда не бывало пророка не только у себя дома, но и в своем отечестве. То же и в мелочах. Нижеследующий ничтожный пример воспроизводит все то, что можно было бы показать и на примерах великих. Под небом моей Гаскони я слыву чудаком, так как сочиняю и печатаю книги. Чем дальше от своих родных мест, тем больше я значу в глазах знающих обо мне. В Гиени я покупаю у книгоиздателей, в других местах — они покупают меня. На подобных вещах и основано поведение тех, кто, живя и пребывая среди своих современников, таится от них, чтобы после своей смерти и исчезновения завоевать себе славу. Что до меня, то я не гонюсь за ней. Я жду от мира не больше

того, что он мне уделил. Таким образом, мы с ним в расчете.

Иного восхищенный народ провожает с собрания до дверей его дома; но вместе с парадной одеждой он расстается и с ролью, которую только что исполнял, и падает тем ниже, чем выше был вознесен: в глубине его души все нелепо и отвратительно, и даже если в нем господствует внутренний лад, нужно обладать быстрым и трезвым умом, чтобы подметить это в его привычных и ничем не примечательных поступках, в его обыденной жизни. Добавим к тому же, что сдержанность — мрачная и угрюмая добродетель. Устремляться при осаде крепости в брешь, стоять во главе посольства, править народом — все эти поступки окружены блеском и обращают на себя внимание всех. Но бранить, смеяться, продавать, платить, любить, ненавидеть и беседовать с близкими и с собою самим мягко и всегда соблюдая справедливость, не поддаваться слабости, неизменно оставаться самим собой — это вещь гораздо более редкая, более трудная и менее бросающаяся в глаза. Жизни, протекающей в уединении, что бы ни говорили на этот счет, ведомы такие же, если только не более сложные и тягостные обязанности, какие ведомы жизни,

не замыкающейся в себе. И частные лица, говорит Аристотель, служат добродетели с большими трудностями и более возвышенным образом, нежели те, кто занимает высокие должности. Мы готовимся к выдающимся подвигам, побуждаемые больше жаждою славы, чем своей совестью. Самый краткий путь к завоеванию славы — это делать по побуждению совести то, что мы делаем ради славы. И доблесть Александра, явленная им на его поприще, намного уступает, по-моему, доблести, которую проявил Сократ, чье существование было скромным и неприметным. Я легко могу представить себе Сократа на месте Александра, но Александра на месте Сократа я представить себе не могу. Если бы кто-нибудь спросил Александра, что он умеет делать, тот бы ответил: подчинять мир своей власти; если бы кто-нибудь обратился с тем же к Сократу, он несомненно сказал бы, что умеет жить, как подобает людям, то есть в соответствии с предписаниями природы, а для этого требуются более обширные, более глубокие и более полезные познания. Ценность души определяется не способностью высоко возноситься, но способностью быть упорядоченной всегда и во всем. Ее величие раскрывается не в великом, но в повседневном.

Как те, кто судит о нас, проникая в глубины нашей души, не придают слишком большого значения блеску наших поступков на общественном поприще, понимая, что это не более чем струйки и капли чистой воды, пробивающиеся наружу из топкой и илистой почвы, так и те, кто судит о нас по нашему внешнему великолепию, заключают, исходя из него, и о нашей внутренней сущности, ибо в их сознании никак не укладывается, что обычные людские свойства, такие же, как их собственные, совмещаются в нас с теми другими качествами, которые вызывают их удивление и так недостижимы для них. По этой причине мы и придаем бесам звериный облик. Кто же способен представить себе Тамерлана иначе, как с нахмуренными бровями, раздувающимися ноздрями, грозным лицом и неправдоподобно могучим станом, таким станом, каким наделяет его наше потрясенное славою этого имени воображение. И если бы кто-нибудь доставил мне в прошлом случай увидеть Эразма, мне было бы трудно не счесть афоризмом и апофтегмой любую фразу, с которой он обратился бы к своему лакею или экономке.


MONTAIGNE

Памятник Мишелю Монтеню в Париже.

Эта статуя из бронзы стоит в Латинском квартале, возле главного корпуса Сорбонского университета. Памятник был выполнен польским скульптором Полем Ландовски в 1933 году. Мастер изобразил философа восседающим на простом постаменте в непринужденной позе, нога за ногу. Студенты Сорбонны считают, что надо потереть правую туфлю статуи накануне экзаменов, чтобы удачно сдать их.

Мы гораздо легче можем представить себе какого-нибудь ремесленника, восседающим на стульчаке или взгромоздившимся на жену, нежели вельможу, внушающего почтение своею осанкой и неприступностью. Нам кажется, что с высоты своих тронов они никогда не снисходят до прозы обыденной жизни.

Нередко случается, что порочные души под влиянием какого-нибудь побуждения извне творят добро, тогда как души глубоко добродетельные — по той же причине — зло. Таким образом, судить о них следует лишь тогда, когда они в устойчивом состоянии, когда они в ладу сами с собой, если это порой с ними случается, или, по крайней мере, когда они относительно спокойны и ближе к своей естественной непосредственности. При-

родные склонности развиваются и укрепляются при помощи воспитания, но изменить и преодолеть их нельзя. Тысячи характеров в мое время обратились к добродетели или к пороку, хоть и были наставлены в противоположных правилах.

Эти врожденные свойства искоренить невозможно; их прикрывают, их прячут, но не больше. Латинский язык для меня как родной; я понимаю его лучше, чем французский, но вот уже сорок лет совершенно не пользуюсь им как языком разговорным и совсем не пишу на нем; и все же при сильных и внезапных душевных движениях, которые мне довелось пережить раза два-три за мою жизнь и особенно в тот раз, когда я увидел, что мой отец, перед тем совершенно здоровый, валится на меня, теряя сознание, первые вырвавшиеся из глубин памяти и произнесенные мною слова были латинскими: природа сама собой пробивается наружу и выражает себя, вопреки долгой привычке. И этот пример может быть подкреплен множеством других.

Те, кто пытался с помощью новых воззрений преобразовать в мое время нравы людей, искореняют лишь чисто внешние недостатки; что же касается настоящих пороков, они их не затрагивают, если только не усиливают и не умножают,

и этого усиления и умножения нужно бояться; они охотно останавливаются на достигнутом и отказываются от других улучшений, ограничиваясь упомянутыми внешними и произвольными преобразованиями, которые не многого стоят, а между тем приносят им славу; таким образом, они за сходную плату оставляют в покое другие, подлинные, врожденные, глубоко укоренившиеся пороки. Обратитесь на миг к показаниям вашего опыта; нет человека, который, если только он всматривается в себя, не открыл бы в себе некоей собственной сущности, сущности, определяющей его поведение и противоборствующей воспитанию, а так же буре враждебных ему страстей. Что до меня, то я не ощущаю никакого сотрясения от толчка; я почти всегда пребываю на своем месте, как это свойственно громоздким и тяжеловесным телам. Если я и оказываюсь порой вне себя самого, то все же нахожусь всегда где-то поблизости. Мои порывы не уносят меня чересчур далеко. В них нет ничего чрезмерного и причудливого, и мои увлечения, таким образом, нужно считать здоровыми и полноценными.

Но что действительно заслуживает настоящего осуждения — а это касается повседневного существования всех людей, — это то, что даже их

личная жизнь полна гнили и мерзости, что их мысль о собственном нравственном очищении — шаткая и туманная, что их раскаяние почти столь же болезненно и преступно, как и их грех. Иные, связанные с пороком природными узами или сжившиеся с ним в силу давней привычки, уже не видят в нем никакого уродства. Других (я сам из их числа) порок тяготит, но это уравновешивается для них удовольствием или чем-либо иным, и они уступают пороку, предаются ему ценою того, что грешат пакостно и трусливо. И все же можно представить себе такую несоизмеримость удовольствия и греха, что первое — это можно сказать и относительно пользы — с полным основанием извиняет второй, и не только в том случае, когда удовольствие примешивается случайно и не имеет прямой связи с грехом, как при краже, но даже если оно неотделимо от греховного деяния, как при сближении с женщиной, когда вожделение безгранично, а порою, как говорят, и вовсе неодолимо.

Побывав недавно в Арманьяке и посетив поместье одного моего родственника, я видел там крестьянина, которого никто не называет иначе, как «вор». Он рассказывает о своей жизни следующее: родившись нищим и считая, что

зарабатывать хлеб трудом своих рук — значит никогда не вырваться из нужды, он решил сделаться вором и всю молодость безнаказанно занимался этим своим ремеслом, чему немало способствовала его огромная телесная сила; он жал хлеб и срезал виноград на чужих участках, проделывая это где-нибудь вдалеке от своего дома и перетаскивая на себе такое количество краденого, что никому в голову не приходило, будто один человек способен унести на плечах все это в течение одной ночи; к тому же он старался распределять причиняемый им ущерб равномерно, так чтобы каждый в отдельности не испытывал слишком чувствительного урона. Сейчас он уже стар и для человека его сословия весьма состоятелен, чем обязан своему прошлому промыслу, в котором признается с полною откровенностью. Чтобы вымолить у бога прощения за подобный способ наживы, он, по его словам, что ни день оказывает всевозможные благодеяния потомкам некогда обворованных им людей, дабы возместить свои былые хищения; и если он не успеет закончить эти расчеты (ибо наделить разом всех он не в силах), то возложит эту обязанность на наследников, принимая во внимание то зло, которое он причинил каждому и размеры которого известны

лишь ему одному. Если судить по его рассказу, правдивому или лживому — безразлично, он сам смотрит на воровство как на дело весьма бесчестное и даже ненавидит его, однако менее, чем нужду; он раскаивается в нем как таковом, но раз уж оно было уравновешено и возмещено описанным образом, он в нем отнюдь не раскаивается. В данном случае нет той привычки, что заставляет нас слиться с пороком и приноровлять к нему даже наше мышление; здесь нет и того буйного ветра, который время от времени проносится в нашей душе, смущая и ослепляя ее и подчиняя в это мгновение власти порока.

Всему, что я делаю, я, как правило, предаюсь всем своим существом и, пустившись в путь, прохожу его до конца: у меня не бывает ни одного душевного побуждения, которое таилось бы и укрывалось от моего разума; они протекают почти всегда с согласия всех составных частей моего «я», без раздоров, без внутренних возмущений, и если они бывают достойны порицания или похвалы, то этим обязаны только моему рассудку, ибо если он был достоин порицания хоть однажды, это значит, что он достоин его всегда, так как, можно сказать, от рождения он неизменно все тот же: те же склонности, то же

направление, та же сила. А что касается моих воззрений, я и теперь пребываю в той же точке, держаться которой положил себе еще в детстве.

Существуют грехи, которые увлекают нас стремительно, неодолимо, внезапно. Оставим их в стороне. Но что до других грехов, тех, в которые мы беспрестанно впадаем, о которых столько думали и говорили с другими, или грехов, связанных с особенностями нашего душевного склада, нашими занятиями и обязанностями, то я не в силах постигнуть, как это они могут столь долгое время гнездиться в чьем-либо сердце без ведома и согласия со стороны совести и разума познавшего их человека; и мне трудно понять и представить себе раскаяние, охватывающее его, как он похваляется, в заранее предписанный для этого час.

Я не разделяю взгляда приверженцев Пифагора, будто люди, приближаясь к изваяниям богов, чтобы выслушать их прорицания, обретают новую душу, разве только он хотел этим сказать, что она неизбежно должна быть какой-то иной, новой, на время обретенной, поскольку в собственной их душе не заметно того очищения и ничем не нарушаемого покоя, которые обязательны для совершающих священнодействие.

В этом случае учение пифагорейцев утвержда-

ет нечто прямо противоположное наставлениям стоиков, требующих решительно исправлять познанные нами в себе пороки и недостатки, но запрещающих огорчаться и печалиться из-за них. Пифагорийцы — те заставляют нас думать, что они в глубине души ощущают по той же причине сильную скорбь и угрызения совести, но что касается пресечения и исправления упомянутых пороков и недостатков, а также самоусовершенствования, то об этом они не упоминают ни словом. Однако нельзя исцелиться, не избавившись от болезни. Раскаяние только тогда возьмет верх над грехом, если перевесит его на чаше весов. Я считаю, что нет ни одного душевного качества, которое можно подделать с такою же легкостью, как благочестие, если образ жизни не согласуется с ним: сущность его непознаваема и таинственна, внешние проявления — общепонятны и облачены в пышный наряд.

Что до меня, то, вообще говоря, я могу хотеть быть другим, могу осуждать себя в целом и не нравиться сам себе и умолять бога о полном моем преображении и о том, чтобы он простил мне природную слабость. Но все это, по-моему, я могу называть раскаянием не более, чем мое огорчение, что я не ангел и не Катон. Мои поступки

по-своему упорядочены и находятся в соответствии с тем, что я есть, и с моими возможностями. Делать лучше я не могу. Раскаянье, в сущности, не распространяется на те вещи, которые нам не по силам; тут следует говорить только о сожалении. Я могу представить себе бесчисленное множество различных характеров, более возвышенных и упорядоченных, нежели мой, однако я не исправляю благодаря этому своих прирожденных свойств, как моя рука и мой ум не становятся более мощными оттого, что я рисую в своем воображении другую руку и другой ум, какими бы они ни были. Если бы, представляя себе более благородный образ действий, чем наш, и стремясь к нему всей душой, мы ощущали раскаянье, нам пришлось бы раскаиваться в самых невинных делах и поступках, — ведь мы хорошо понимаем, что человек с более выдающимися природными данными сделал бы то же самое лучше и благороднее, и мы постоянно желали бы поступить так же. И теперь, когда я на старости лет размышляю над своим разгульным поведением в молодости, я нахожу, что, принимая во внимание свойства моей натуры, оно было, в общем, вполне упорядоченным; на большее самообуздание я не был способен. Я нисколько не льщу себе: при сходных

обстоятельствах я всегда был бы таким же самым. Это отнюдь не пятно, скорее это присущий мне особый оттенок. Мне незнакомо поверхностное, умеренное и чисто внешнее раскаяние. Нужно, чтобы оно захватило меня целиком, и лишь тогда я назову его этим словом, нужно, чтобы оно переворачивало мое нутро, проникало в меня так же глубоко и пронизывало насквозь, как божье око.

Что касается переговоров, которые мне приходилось вести, то из-за своего незадачливого поведения я не раз упускал благоприятные случаи. Мои советы, однако, бывали тщательно взвешены и отвечали потребностям обстоятельств: главная их черта — нужно избирать самый легкий и подходящий для себя путь. Полагаю, что на совещаниях, в которых я принимал когда-то участие, мои суждения о предметах, подвергавшихся рассмотрению, были, в соответствии с отмеченным правилом, неизменно благоразумными, — в подобных случаях я поступал бы в точности так же еще тысячу лет. Я имею в виду не нынешнее положение дел, а то, каким оно было тогда, когда я их обсуждал.

Всякий совет обладает действенностью лишь в течение определенного времени: обстоятельства и самая сущность вещей непрерывно в движе-

нии и бесконечно изменчивы. За свою жизнь я допустил несколько грубых и значительных промахов, и не потому, что у меня не хватило ума, но вследствие невезения. В предметах, которыми приходится заниматься, таятся самые невероятные неожиданности — особенно изобилует ими человеческая природа, — немые, никак не проявляющиеся черты, порою неведомые даже самим носителям их, и все это обнаруживается и пробуждается от случайных причин. Если мой разум не смог предвосхитить и заметить их, то я нисколько не виню его в этом; круг его обязанностей строго определен; меня одолевает случай, и если он покровительствует тому образу действий, от которого я отказался, то тут ничем не поможешь; я себя не корю за это, я обвиняю мою судьбу, но не свое поведение, а это вовсе не то, что зовется раскаяньем.

Однажды Фокион подал афинянам некий совет, которому те не последовали. Между тем, вопреки его мнению, дело протекало весьма успешно для них, и кто-то сказал ему: «Ну что, Фокион, доволен ли ты, что все идет так хорошо?» «Конечно, доволен, — ответил тот, — доволен, что это случилось так, а не иначе, но я ни чуточки не раскаиваюсь в том, что советовал поступить так-то и так-то».

Когда мои друзья обращаются ко мне за советом, я излагаю его свободно и четко, не останавливаясь на полуслове, как поступают в рискованных случаях почти все, дабы оградить себя от возможных упреков, если дела обернутся наперекор их рассудку; меня это нисколько не беспокоит. Ведь упрекающие будут кругом неправы, мне же не подобало отказывать им в этой услуге.

Я никоим образом не стремлюсь возлагать вину за мои ошибки или несчастья на кого-либо, кроме себя. Ибо, по правде говоря, я редко прислушиваюсь к чужим советам — разве что подчиняясь правилам вежливости или тогда, когда я могу почерпнуть из них недостающие мне познания, а также сведения о том или ином факте. Но где требуется лишь поразмыслить, доводы со стороны могут лишь подкрепить мои собственные суждения, но чтобы они опровергли их — такого никогда не бывает. Все, что мне говорят, я выслушиваю благожелательно и учтиво, но, сколько мне помнится, вплоть до этого часа я верил только себе самому. На мой взгляд, эти высказывания — не более чем мушки и крапинки, скользящие по поверхности моей воли. Я не очень-то ценю свои мнения, но так же мало ценю и чужие. Судьба воздает мне за это

полною мерой. Если я не гонюсь за советами, то еще меньше я их расточаю. Их у меня почти и не спрашивают и еще реже им доверяют, и я не знаю ни одного общественного или частного дела, которое было бы начато или доведено до конца по моему настоянию. Даже те, чьими судьбами я в некоторой мере распоряжаюсь, — и они охотнее подчиняются чьей-нибудь чужой воле, нежели моей. И поскольку о влиянии своем я пекусь менее ревностно, чем о душевном покое, мне это гораздо приятнее: не обращая на меня внимания, люди предоставляют мне возможность жить в соответствии с моими желаниями, которые состоят в том, чтобы сосредоточиться и замкнуться в себе, и для меня великая радость пребывать в полном неведении относительно чужих дел и не чувствовать на себе обязанности устраивать их.

По своем завершении всякое дело, чем бы оно ни окончилось, перестает занимать мои мысли. Если его исход оказался печальным, меня примиряет с этим следующее соображение: он не мог быть иным, ибо таково его место в великом круговороте всего сущего и в цепи причин и следствий, о которых говорят стоики; ваше воображение, как бы вы ни старались и ни жаждали этого, не в состоянии сдвинуть с места ни одной

точки, не нарушив при этом установленного порядка вещей, и это касается как прошлого, так и будущего.

И вообще, я не выношу тех приступов раскаяния, которые находят на человека с возрастом. Тот, кто заявил в древности, что он бесконечно благодарен годам, ибо они избавили его от сладострастия, держался на этот счет совсем иных взглядов, чем я: никогда я не стану превозносить бессилие за все его мнимые благодеяния.

В старости мы лишь изредка предаемся любовным утехам, и после них нас охватывает глубокое пресыщение; тут совесть, по-моему, ни при чем; горести и слабость навязывают нам трусливую и хлипкую добродетель. Мы не должны позволить естественным изменениям брать верх над нами до такой степени, чтобы от этого страдали наши умственные способности. Молодость и ее радости не могли в свое время скрыть от меня печати порока на сладострастии; так и ныне пришедшая ко мне с годами пресыщенность не может скрыть от меня печати сладострастия на пороке. И теперь, когда оно больше не властвует надо мной, я сужу о нем точно так же, как тогда, когда пребывал в его власти. Энергично и тщательно стряхивая его с себя, я нахожу, что мой разум остался таким же,

каким был в беспутные дни моей юности, — разве что ослабел и померк с приближением старости; и еще я нахожу, что, если он запрещает мне предаваться чувственным наслаждениям, заботясь о моем телесном здоровье, то и прежде он делал то же, заботясь о здоровье моего духа. Зная, что теперь он больше не борется за него, я не могу считать его более доблестным. Мои вожделения настолько немощны и безжизненны, что ему, в сущности, и не нужно обуздывать их. Чтобы справиться с ними, мне достаточно, так сказать, протянуть руку. И случись ему столкнуться с былым моим вожделением, он, опасаюсь, справился бы с ним не в пример хуже, чем раньше. Я не вижу, чтобы он занимался чем-либо таким, чем не занимался тогда, как не вижу и того, чтобы он стал проницательнее. И если это — выздоровление разума, то как же оно для нас бедственно!

До чего ничтожно лекарство, исцеляющее посредством болезни!

Эту услугу должно было бы оказывать нам не несчастье, но наш собственный ум в пору своего расцвета. Напасти и огорчения не могут принудить меня ни к чему, кроме проклятий. Они полезны лишь тем, кто не просыпается иначе, как от ударов бича. Мой разум чувствует себя гораздо

непринужденнее в обстановке благополучия. Переваривать несчастья ему гораздо труднее, чем радости: в этом случае его охватывает тревога и он начинает разбрасываться. При безоблачном небе я вижу много отчетливее. Здоровье подает мне советы и более радостные и более полезные, чем те, которые мне может подать болезнь. Я очистил и упорядочил мою жизнь, как только мог, еще в те времена, когда наслаждался всеми ее дарами. И мне было бы досадно и стыдно, если бы оказалось, что убожество и печали моего заката имеют право предпочесть себя тем замечательным дням, когда я был здоров, жизнерадостен, полон сил, и что меня нужно ценить не такого, каким я был, но такого, каким я сделался, перестав быть собой. Счастье человеческое состоит вовсе не в том, чтобы хорошо умереть, как говорит Антисфен, а в том, по-моему, чтобы хорошо жить. Я никогда не вынашивал в себе чудовищной мысли напялить на голову и тело того, кто, в сущности, уже мертв, — а что иное я представляю собой? — колпак и халат философа и никогда не стремился к тому, чтобы это жалкое рубище осудило и унизило самую яркую, лучшую и продолжительную часть моей жизни.

Я хочу показать — и притом так, чтобы все это

видели, — что всегда и везде я все тот же. Если бы мне довелось прожить еще одну жизнь, я жил бы так же, как прожил; я не жалею о прошлом и не страшусь будущего. И если я не обманываюсь, то как внутри, так и снаружи дело обстояло приблизительно одинаково. Больше всего я благодарен своей судьбе, пожалуй, за то, что всякое изменение в состоянии моего тела происходило в подобающее для моих лет время. Я видел себя в пору первых побегов, затем цветов и плодов, теперь наступила пора увядания. И это прекрасно, ибо естественно. Я гораздо легче переношу свои боли именно потому, что в мои годы они в порядке вещей, и потому, что, страдая от них, я с еще большей признательностью вспоминаю о долгом счастье прожитой мною жизни. И моя житейская мудрость равным образом остается, возможно, на том же уровне, что и прежде; впрочем, она была гораздо решительнее, изящнее, свежее, жизнерадостнее и непосредственнее, чем нынешняя, — закоснелая, брюзгливая, тяжеловесная.

Итак, я отказываюсь от всех улучшений, зависящих от столь печальных обстоятельств и от возможных случайностей. Нужно, чтобы бог пребывал в нашем сердце.

Нужно, чтобы совесть совершенствовалась сама собой благодаря укреплению нашего разума, а не вследствие угасания наших желаний. Сладострастие как таковое не становится бесцветным и бледным, сколь бы воспаленными и затуманенными ни были созерцающие его глаза. Следует любить воздержание само по себе и из уважения к богу, который нам заповедал его, следует любить целомудрие. Что же касается воздержания, на которое нас обрекают наши катары и которым я обязан не чему иному, как моим коликам, то это не целомудрие и не воздержание. Нельзя похваляться презрением к сладострастию и победой над ним, если не испытываешь его, если не знаешь его, и его обольщений, и его мощи, и его бесконечно завлекательной красоты. Я знал и то и другое, и кому, как не мне, говорить об этом. Но в старости, как мне кажется, наши души подвержены недугам и несовершенствам более докучным, чем в молодости. Я говорил об этом совсем молодым, но тогда меня неизменно осаживали на том основании, что я безбородый юнец. Я говорю то же самое и сейчас, когда моя сивая борода придает моим словам вес. Мы зовем мудростью беспорядочный ворох наших причуд, наше недовольство существующими порядками.

Но в действительности мы не столько освобождаемся от наших пороков, сколько меняем их на другие — и, как я думаю, худшие. Кроме глупой и жалкой спеси, нудной болтливости, несносных и непостижимых причуд, суеверий, смехотворной жажды богатств, когда пользоваться ими уже невозможно, я замечаю у стариков также зависть, несправедливость и коварную злобу. Старость налагает морщины не только на наши лица, но в еще большей мере на наши умы, и что-то не видно душ — или они встречаются крайне редко, — которые, старясь, не отдавали бы плесенью и кислятиной. Все в человеке идет вместе с ним в гору и под гору.

Принимая во внимание мудрость Сократа и кое-какие обстоятельства его осуждения, я решаюсь предполагать, что он сам некоторым образом способствовал совершившемуся, намеренно предоставляя всему идти своим чередом, — ведь он достиг семидесяти лет и знал, что его блестящему и деятельному уму предстоит в близком будущем ослабеть, а свойственной ему проницательности — померкнуть.

Каким только метаморфозам не подвергает каждодневно старость — можно сказать, у меня на глазах — многих моих знакомых! Она — могу-

щественная болезнь, настигающая естественно и незаметно. Нужно обладать большим запасом знаний и большою предусмотрительностью, чтобы избегнуть изъянов, которыми она нас награждает, или, по крайней мере, чтобы замедлить развитие их. Я чувствую, что, несмотря на все мои оборонительные сооружения, она пядь за пядью оттесняет меня. Я держусь сколько могу. Но я не знаю, куда, в конце концов, она меня заведет. Во всех случаях я хочу, чтобы знали, откуда именно я упал.

О самообладании

По сравнению с другими людьми меня задевают или, правильнее сказать, захватывают только немногие вещи; что задевают, это вполне естественно, лишь бы они не держали нас в своей власти. Я прилагаю всяческие старания, чтобы с помощью упражнения и размышления усилить в себе душевную неуязвимость, к чему я в немалой мере приуготовлен самой природой и что является большим преимуществом для человека. Меня увлекает и, стало быть, волнует очень немногое. Взгляд у меня острый, но я останавливаю его лишь на немногих предметах; чувства у меня тонкие и сильные. Но что касается восприимчивости и внимательности, то тут я глух и туп: меня трудно пронять. Насколько это у меня получается, я занимаюсь только собой; но и любовь к себе я бы охотно обуздывал и укрощал, чтобы она не поглотила меня целиком и полностью, потому что и она направлена на предмет, которым я владею по чужой милости и на который судьба имеет больше прав, нежели я. Таким образом, даже здоровья, которое я так высоко ценю, — и его я не должен желать и отдаваться заботам о нем

с таким пылом, чтобы болезни стали казаться мне чем-то совершенно невыносимым. Следует держаться между ненавистью к страданию и любовью к наслаждению; и Платон советует избирать средний жизненный путь между этими двумя чувствами.

Но чувствам, отвлекающим меня от себя и привязывающим к чему-либо другому, — им я противлюсь изо всех сил. Я считаю, что хотя и следует одалживать себя посторонним, отдавать себя нужно только себе самому. Если бы моя воля с легкостью предоставляла себя в распоряжение кого-то другого, я бы не выдержал этого, — слишком уж я изнежен и от природы и вследствие давних моих привычек.

Ожесточенные и упорные прения, в которых мой противник, в конце концов, взял бы надо мной верх, их исход, делающий постыдной мою горячность в отстаивании своей правоты, нанесли бы мне, по всей вероятности, очень жестокий удар. Если бы я уходил в мои дела с головой, как это бывает с другими, моя душа никогда бы не смогла справиться с тревогами и треволнениями, неотступно следующими за теми, кто всегда и везде увлекается и горит: этим внутренним возбуждением она была бы немедленно подавлена

и разбита. В тех случаях, когда меня все-таки заставляют браться за чужие дела, я обещаю, что возьму их в свои руки, но не в легкие и не в печень; что возложу их на себя; что буду о них радеть — это так, — но не стану ради них расшибаться в лепешку; я за ними присматриваю, но я их не высиживаю, как курица яйца. У меня достаточно забот с налаживанием и приведением в порядок моих собственных дел, которые сидят у меня в печенках и тянут из меня жилы, чтобы принимать и взваливать на себя еще и чужие, и я достаточно поглощен моими делами — существенными, сугубо личными и навязанными мне самою природой, чтобы обременять себя, вдобавок, и посторонними. Кто хорошо видит, в каком он долгу пред собою и сколько обязан для себя сделать, тот понимает, что природа возложила на него достаточно сложное и отнюдь не допускающее праздности поручение. У тебя сколько угодно дела с самим собой; так не отдаляйся же от себя.

Люди предоставляют себя внаймы. Их способности служат не им, но тем, к кому они идут в кабалу; в них обитают их нанимателя, но не они сами. Это всеобщее поветрие не по мне; нужно оберегать свободу нашей души и ущемлять ее только в тех случаях, когда это безусловно необ-

ходимо; а таких случаев, если рассудить здраво, очень немного. Взгляните на людей, которым свойственно вечно гореть и вмешиваться во все на свете; они делают это всегда и везде, как в малом, так и в большом, как в том, что их касается, так и в том, что их ни с какой стороны не касается; и они суются во все, что им сулит хлопоты и обязанности, и не чувствуют, что живут, если не исполнены тревоги и возбуждения. Они ищут себе занятий лишь для того, чтобы себя занять.

И это вовсе не потому, что им хочется двигаться, а потому, что они не в состоянии остаться на месте; ни дать ни взять, как падающий с высоты камень, которому никак не остановиться, пока он не шлепнется на землю. Занятость для известного сорта людей — доказательство их собственных дарований и их достоинств. Их дух успокаивает встряхивание, подобно тому как младенцев — люлька. Они могли бы себе сказать, что столь же услужливы для других, как несносны самим себе. Никто не раздает всех своих денег другим, а вот свое время и свою жизнь раздает каждый; и нет ничего, в чем бы мы были настолько же расточительны и в чем скупость была бы полезнее и похвальнее.

Большинство распространенных в мире пра-

вил и наставлений ставит себе задачей извлечь нас из нашего уединения и выгнать на площадь, дабы мы трудились на благо обществу. Они задуманы с тем, чтобы, оказав на людей благотворное действие, принудить их отвернуться и отвлечься от своего «я»; при этом они исходят из представления, что мы слишком за себя держимся и что в этом повинна чрезмерная, хотя и естественная привязанность к самому себе; в них не упущено ничего, что может быть сказано с этой целью. Ведь мудрецам вовсе не внове изображать вещи не такими, каковы они в действительности, а такими, чтобы они могли сослужить известную службу. Истина иногда бывает для нас затруднительна, неудобна и непригодна. Нам нередко необходимо обманывать, чтобы не обмануться, щуриться и забивать себе мозги, чтобы научиться отчетливее видеть и понимать.

Думаю, что в храме Афины-Паллады, как и в остальных известных нам культах, были таинства явные, предназначенные для всех, и таинства более возвышенные и более сокровенные, предназначенные только для посвященных. Весьма вероятно, что именно здесь закладывались корни учения о той дружбе к себе, которой подобает жить в каждом из нас. Это — не та мни-

мая дружба, что заставляет нас любить славу, науку, богатство и тому подобные вещи такой же всеохватывающей и безграничной любовью, какую мы питаем к членам нашего тела; это — и не та расслабленная и неразумная дружба, с которой случается то же, что бывает, как мы наблюдаем, с плющом, портящим и разрушающим обвиваемую им стену; нет, речь идет о дружбе благодетельной и упорядоченной, как полезной, так равно и приятной. Кто знает ее обязанности и исправно их выполняет, тот, поистине, в обиталище муз: он достиг вершин человеческой мудрости и доступного для нас счастья. Зная в точности, в чем его долг пред собой, он находит в списке предъявленных к нему требований, что ему надлежит придерживаться обыкновения, принятого другими людьми и всем миром, и в силу этого — служить обществу, выполняя обязанности, которые оно на него возлагает. Кто в некоторой мере не живет для других, тот совершенно не живет для себя. Главнейшая обязанность каждого — это вести себя подобающим образом; и только благодаря этому мы существуем. Кто забывает о том, что ему следует жить свято и праведно, и думает, что, подталкивая и направляя других, тем самым рассчитывается по лежащему на нем

долгу, тот — глупец и тупица; а кто отказывает себе в удовольствии жить здраво и весело и полностью отдается служению на благо другим, тот, по-моему, также избирает себе плохой и противоестественный путь.

Этим я отнюдь не хочу сказать, что, взяв на себя должность, кто-нибудь вправе затем отказывать ей во внимании, заботе, словах и поте и крови, если это понадобится. Последнее, однако, не правило, а исключение: нужно, чтобы дух был неизменно уравновешенным и спокойным; чтобы он не был бездеятелен, но вместе с тем и не чувствовал гнета и оставался бесстрастным. Обычная деятельность ему нипочем; он деятелен даже у спящего. Но встряхивать его нужно с умом, ибо, в то время как тело ощущает возложенный на него груз в полном соответствии с его действительным весом, дух, нередко в ущерб самому себе, усугубляет и преувеличивает его тяжесть, определяя ее, как ему заблагорассудится. Одно и то же совершается нами с неодинаковыми усилиями и неодинаковым напряжением воли. Прямой связи тут нет. Какое множество людей ежедневно рискуют жизнью, участвуя в войнах, до которых им, в сущности говоря, нет ни малейшего дела, сколь многие бросаются в самую гущу опасностей

на полях битв, а случись им понести поражение, они и не подумают спать от этого хоть чуточку хуже. А иной, сидя у себя дома, вдали от всякой опасности, на которую не решился бы даже взглянуть, с большим нетерпением ожидает исхода войны и переживает ее гораздо сильнее, чем солдат, отдающий ей свою кровь и самую жизнь. Я умел выполнять общественные обязанности, не отдаляясь от себя ни на одну пядь, и отдавать себя на службу другим, ничего не отнимая от самого себя.

Напряженность и неукротимость желаний скорее препятствуют, чем способствуют достижению поставленной цели: они вселяют в нас нетерпение, если события развиваются медленнее, чем мы рассчитывали, и вопреки нашим предположениям, а также недоверие и подозрительность в отношении тех, с кем нам приходится иметь дело. Мы никогда не руководим тем, что безраздельно над нами властвует и само нами руководит. Кто прибегает только к расчету и своей ловкости, тот достигает большего; он притворяется, изворачивается, в зависимости от обстоятельств откладывает и отступает; если он обманулся в своих ожиданиях, это его не огорчает и не волнует; он неизменно готов к новой попытке и

неизменно во всеоружии; и он всегда держит себя в узде. Но кто поглощен своим тираническим и неукротимым стремлением, в том неизбежно бывает много безрассудства и несправедливости; неудержимость его желания берет над ним верх и подчиняет его себе; он несется вперед, закусив удила, и если ему не улыбнется удача, плоды его стараний ничтожны.

Заметьте, что даже в таких пустячных и легковесных делах, как игра в шахматы, в мяч и другие, подобные им, всепоглощающее пылкое увлечение, пробуждаемое в нас неукротимым желанием, тотчас приводит в смятение и расстройство и наш разум, и наше тело: человек забывает все, даже самого себя. Но в ком ни выигрыш, ни проигрыш не порождают горячки, тот всегда остается самим собой; чем меньше волнений и страсти он вкладывает в игру, тем увереннее и успешнее он играет.

И вообще, перегружая душу множеством впечатлений, мы мешаем ей познавать и запечатлевать в себе познанное. Есть вещи, с которыми ее нужно лишь поверхностно познакомить; с другими — связать; третьи в нее вложить. Она обладает способностью видеть и ощущать все, что угодно, но пищу для себя ей должно черпать только в се-

бе; и она должна быть осведомлена обо всем том, что имеет к ней прямое касательство и что так или иначе является ее достоянием и частицею ее сущности. Законы природы определяют наши истинные потребности. Мудрецы говорят, что бедняков, если исходить из этих потребностей, нет и не может быть и что всякий, считающий себя таковым, исходит лишь из собственного суждения; основываясь на этом, они весьма тонко подразделяют наши желания на внушенные природой и на те, что внушены нам нашим необузданным воображением; те, конечная цель которых ясна, — от природы; те, которые опережают нас и за которыми нам не угнаться, — от нас. Нищете материальной нетрудно помочь, нищете души — невозможно.

Сократ, видя, как торжественно проносят по городу бесчисленные сокровища, драгоценности и богатую домашнюю утварь, воскликнул: «Сколько вещей, которых я совсем не желаю!». Ежедневный паек Метродора весил двенадцать унций, Эпикура — еще того меньше; Метрокл зимой ночевал вместе с овцами, летом — во дворах храмов. Клеанф жил трудом своих рук и хвалился, что, если того пожелает, Клеанф сможет прокормить еще одного Клеанфа.

Если то, что требуется от нас природой (речь идет лишь о безусловно необходимом и ни о чем большем), — сущий пустяк (сколько же это в действительности и как немного нужно для сохранения нашей жизни, лучше всего может быть доказано следующим соображением: это такой пустяк, что, неприметный судьбе, он ускользает от ее ударов по причине своей ничтожности), то давайте тратить кое-что и сверх этого, давайте назовем природою наши привычки и условия, в которых каждый из нас живет; давайте ограничим себя, будем держаться этого уровня; пусть наше достояние и наше корыстолюбие не переступают этих пределов. В таких границах они, как мне представляется, извинительны.

Итак, я говорю, что поскольку мы существа слабые, каждому из нас извинительно тянуться к тому, что не превышает названной меры. Ну, а тянуться к находящемуся за ее пределами — чистейшее безумие. Это — самое большее, что мы вправе себе позволить. Чем больше наши потребности и наше имущество, тем больше опасность подставить себя под удары судьбы и подвергнуться всевозможным невзгодам. Область наших желаний должна быть строго очерчена; пределом их должно быть некоторое, весьма

незначительное количество жизненных благ, обеспечивающих нам насущно необходимое; эти желания должны к тому же располагаться не по прямой, конец которой был бы где-то вне нас, а по кругу, смыкаясь крайними точками внутри нас и образуя фигуру небольшого размера. Поступки, совершаемые вопреки этому соображению, крайне важному и существенному, как например поступки скупцов, честолюбцев и многих других, которые, сломя голову, бегут вперед и вперед и которых их бег увлекает все дальше и дальше, — поступки порочные и ошибочные.

Большинство наших занятий — лицедейство. Нужно добросовестно играть свою роль, но при этом не забывать, что это всего-навсего роль, которую нам поручили. Маску и внешний облик нельзя делать сущностью, чужое — своим. Мы не умеем отличать рубашку от кожи. Достаточно посыпать мукою лицо, не посыпая ею одновременно и сердца. Я знаю людей, которые, получив повышение в должности, тотчас изменяют и преобразуют себя в столь новые обличия и столь новые существа, что становятся важными господами вплоть до печенки и до кишок и продолжают отправлять свою должность, даже сидя на стульчаке. Я не могу их научить отличать

поклоны, отвешиваемые их положению, свите, мулу, на котором они восседают, от тех поклонов, что предназначены непосредственно им. Они чванятся и пыжатся и тщатся вытянуть свою душу и данный им от природы ум до высоты своего служебного кресла.



Детство и отрочество Франсуа де Ларошфуко прошло в провинции Ангумуа на западе Франции, в фамильном замке Вертей. Его воспитание и обучение, равно как и одиннадцати его младших братьев и сестер, были достаточно небрежными.

Как и полагалось провинциальным дворянам, он занимался преимущественно охотой и военными упражнениями. Но впоследствии, благодаря самообразованию, Ларошфуко стал одним из самых ученых людей Франции.

Будучи адвокатом или банкиром, нельзя закрывать глаза и не видеть плутней, которые весьма часто свойственны этим профессиям. Порядочный человек не может отвечать за пороки или нелепости своего ремесла и из-за них не должен его бросать; так принято у него в стране, и он имеет от этого выгоду. Приходится извлекать средства к жизни из окружающего нас мира, приходится добывать из него свое пропитание, каков бы он ни был. Но мысль императора должна витать над подвластной ему империей. Смотря на нее, он должен в ней видеть явление, пребывающее вне его сущности; и должен уметь отличать себя одного от себя другого, беседуя с собою самим, как какой-нибудь Жак с каким-нибудь Пьером.

Я не умею увлекаться ни особенно глубоко, ни безраздельно. Когда мои чувства привлекают меня к какой-нибудь партии, это вовсе не означает, что моя привязанность к ней настолько сильна, чтобы захватить также и мой рассудок. В нынешних раздорах, терзающих нашу страну,

мои взгляды не затмевают в моих глазах ни похвальных качеств наших противников, ни того, что заслуживает порицания в тех, за кем я последовал. Люди обычно бывают восхищены всем, что находится по их сторону; я же отнюдь не склонен снисходительно относиться к большей части того, что я вижу в избранном мною стане.

Хорошее сочинение не утрачивает для меня присущих ему достоинств и в том случае, если оно нападает на дело, которое я защищаю. Вне существа спора я сохраняю душевное равновесие и полную беспристрастность. Кто выносит свой гнев и свою ненависть за пределы деловых разногласий, — а это свойственно большинству, — тот сам себя обличает в том, что они у него из какого-то другого источника и вызваны какой-то особой причиной; тут все обстоит совсем так же, как у того, кто, излечившись от язвы, не избавился тем не менее от горячки, и это доказывает, что его горячка коренится где-то гораздо глубже. Происходит же это из-за того, что люди, как правило, не питают вражды ко всему делу в целом и им непонятно, что оно затрагивает интересы всех вместе взятых и всего государства, а видят в нем только то, что ущемляет их частные интересы. Вот почему они, вопреки справедливости и обще-

ственной целесообразности, так упорно мстят за свои личные обиды.

Небу не приходилось видеть другой столь же глубокой распри, как распря между Цезарем и Помпеем; ничего похожего оно не увидит и в будущем. И все же мне кажется, что я обнаруживаю в этих великих душах поразительную терпимость друг к другу. Это было соперничество в борьбе за почет и за первенство, не приведшее их, однако, к яростной и слепой ненависти, соперничество, не прибегавшее к коварству и поношениям. Даже в их наиболее резких выпадах я открываю следы какого-то взаимного уважения и какой-то доброжелательности и прихожу к выводу, что, если бы это было для них достижимо, и тот и другой предпочли бы добиться своего, не обрекая на гибель соперника. А насколько по-другому дела обстояли у Мария с Суллой; примите же и это в расчет.

Те, кто оправдывают свою мстительность или какую-нибудь другую дурную страсть, часто правдиво изображают положение дел, каково оно есть, но не каким оно было. Они говорят нам об этом тогда, когда причины их заблуждений ими облагорожены и возвеличены, но отойдем немного назад, вспомним, как выглядели эти

причины в своем изначальном виде, и мы поймаем этих людей с поличным. Неужто они хотят, чтобы их проступок казался меньшим, потому что совершен ими давно, и чтобы неправедно начатое имело праведные последствия?

В большинстве случаев наши примирения после ссоры бывают лживыми и постыдными; мы стремимся только к соблюдению внешней благопристойности и вместе с тем отрекаемся от наших истинных побуждений и совершаем по отношению к ним предательство. Мы приукрашиваем действительность. Мы очень хорошо знаем, что именно мы сказали и в каком смысле сказали, и это так же хорошо знают и присутствовавшие и наши друзья, перед которыми мы хотим выказать свое превосходство. Поступаясь нашей искренностью и честью нашего мужества, мы отрекаемся от своих мыслей и ищем в искажении истины лазейку, лишь бы, несмотря ни на что, помириться. Мы сами изобличаем себя во лжи, чтобы извинить изобличения такого же рода, которые исходили от нас самих.

Негоже доискиваться, нельзя ли как-нибудь по-иному истолковать наши поступки или наши слова; нужно твердо держаться своего собственного толкования свершенного нами в держаться

его, чего бы это ни стоило. Речь идет о нашей порядочности и нашей совести, а это вещи, не терпящие личины. Предоставим же такие низменные уловки и отговорки ябедам и крючкотворам из Дворца Правосудия. Извинения и объяснения, на которые, как я ежедневно вижу, никто не скупится, чтобы загладить ту или иную неловкость, кажутся мне хуже самой неловкости. Было бы лучше нанести врагу еще одно оскорбление, чем наносить его себе самому, налагая на себя подобное наказание.

Все на свете рождается слабым и нежным. Тем не менее с самого начала следует глядеть в оба, ибо подобно тому как вследствие незначительности какого-нибудь явления мы не находим в нем ни малейшей опасности, точно так же, когда оно наберет силы, мы не найдем против него средства.

Об уединении

Оставим в стороне пространные сравнения жизни уединенной и жизни деятельной. Что же касается красиво звучащего изречения, которым прикрываются честолюбие и стяжательство, а именно: «Мы рождены не для себя, но для общества», то пусть его твердят те, кто без стеснения пляшет со всеми другими под одну дудку. Но если у них есть хоть крупица совести, они должны будут сознаться, что за привилегиями, должностями и прочей мирской мишурой они гонятся вовсе не ради служения обществу, а скорей ради того, чтобы извлечь из общественных дел выгоду для себя. Бесчестные средства, с помощью которых многие в наши дни возвышаются, ясно говорят о том, что и цели также не стоят доброго слова. А честолюбию давайте ответим, что оно-то и прививает нам вкус к уединению, ибо чего же чуждается оно больше, чем общества, и к чему оно стремится с такой же настойчивостью, как не к тому, чтобы иметь руки свободными? Добро и зло можно творить повсюду: впрочем, если справедливы слова Экклезиаста, что «и в целой тысяче не найти ни одного доброго», то в этой

толчее недолго и заразиться. Нужно или подражать людям порочным, или же ненавидеть их. И то и другое опасно: и походить на них, ибо их превеликое множество, и сильно ненавидеть их, ибо они на нас непохожи.

Сказанное вовсе не означает, что мудрец не мог бы жить в свое удовольствие где угодно, чувствуя себя одиноким даже среди толпы придворных; но если бы ему было дано выбирать, то, как учит его философия, он постарался бы даже не глядеть на этих людей. Он готов снести это, если окажется необходимым, но если дело будет зависеть от него самого, он выберет совершенно иное. Ему будет казаться, что он и сам не вполне избавился от пороков, если ему понадобится бороться с пороками остальных.

Харонд карал как преступников даже тех, кто был уличен, что он водится с дурными людьми. И нет другого существа, которое было бы столь же неуживчиво и столь же общительно, как человек: первое — по причине его пороков, второе — в силу его природы.

И Антисфен, когда кто-то упрекнул его в том, что он общается с дурными людьми, ответил, по-моему, не вполне убедительно, сославшись на то, что и врачи проводят жизнь среди больных. Дело

в том, что, заботясь о здоровье больных, врачи, бесспорно, наносят ущерб своему собственному, поскольку они постоянно соприкасаются с больными и имеют дело с ними, подвергая себя опасности заразиться.

Цель, как я полагаю, всегда и у всех одна, а именно жить свободно и независимо; но не всегда люди избирают правильный путь к ней. Часто они думают, что удалились от дел, а оказывается, что только сменили одни на другие. Не меньшая мука управлять своею семьей, чем целым государством: ведь если что-нибудь тяготит душу, она уже полностью отдается этому; и хотя хозяйственные заботы не столь важны, все же они изрядно докучливы. Сверх того, отделавшись от двора и городской площади, мы не отделались от основных и главных мучений нашего существования: честолюбие, жадность, нерешительность, страх и вожделения не покидают нас с переменой места. Они преследуют нас нередко даже в монастыре, даже в убежище философии; ни пустыни, ни пещеры в скалах, ни власяницы, ни посты не избавляют от них. Сократу сказали о каком-то человеке, что путешествие нисколько его не исправило. «Охотно верю, — заметил на это Сократ. — Ведь он возил с собой себя самого».

Если не сбросить сначала со своей души бремени, которое ее угнетает, то в дорожной тряске она будет еще чувствительней. Ведь так же и с кораблем: ему легче плыть, когда груз на нем хорошо уложен и закреплен. Вы причиняете больному больше вреда, чем пользы, заставляя его менять положение; шевеля его, вы загоняете болезнь внутрь. Чем больше мы раскачиваем воткнутые в землю колья и нажимаем на них, тем глубже они уходят в почву и увязают в ней. Недостаточно поэтому уйти от людей, недостаточно переменить место, нужно уйти и от свойств толпы, укоренившихся в нас; нужно расстаться с собой и затем обрести себя заново.

Мы волочим за собой свои цепи; здесь нет еще полной свободы — мы обращаем свой взор к тому, что оставили за собой, наше воображение еще заполнено им; зло засело в нашей душе, а она не в состоянии бежать от себя самой.

Итак, ей нужно обновиться и замкнуться в себе: это и будет подлинное уединение, которым можно наслаждаться и в толчее городов и при дворах королей, хотя свободнее и полнее всего наслаждаться им в одиночестве. А раз мы собираемся жить одиноко и обходиться без общества, сделаем так, чтобы наша удовлетворенность или

неудовлетворенность зависели всецело от нас; освободимся от всех уз, которые связывают нас с ближними; заставим себя сознательно жить в одиночестве, и притом так, чтобы это доставляло нам удовольствие.

Нужно приберечь для себя какой-нибудь уголок, который был бы целиком наш, всегда к нашим услугам, где мы располагали бы полной свободой, где было бы главное наше прибежище, где мы могли бы уединяться. Здесь и подобает нам вести внутренние беседы с собой и притом настолько доверительные, что к ним не должны иметь доступа ни наши приятели, ни посторонние; здесь надлежит нам размышлять и радоваться, забывая о том, что у нас есть жена, дети, имущество, хозяйство, слуги, дабы, если случится, что мы потеряем их, для нас не было бы чем-то необычным обходиться без всего этого. Мы обладаем душой, способной общаться с собой; она в состоянии составить себе компанию; у нее есть на что нападать и от чего защищаться, что получать и чем дарить.

Уединение, как мне кажется, имеет разумные основания скорее для тех, кто успел уже отдать миру свои самые деятельные и цветущие годы. Мы пожили достаточно для других, проживем

же для себя хотя бы остаток жизни. Сосредоточим на себе и на своем собственном благе все наши помыслы и намерения! Ведь нелегкое дело — отступать, не теряя присутствия духа; всякое отступление достаточно хлопотливо само по себе, чтобы прибавлять к этому еще другие заботы. Когда господь дает нам возможность подготовиться к нашему переселению, используем ее с толком; уложим пожитки; простимся заблаговременно с окружающими; отделаемся от стеснительных уз, которые связывают нас с внешним миром и отдаляют от самих себя. Нужно разорвать эти на редкость крепкие связи. Можно еще любить то или другое, но не связывая себя до конца с чем-либо, кроме себя самого. Иначе говоря: пусть все будет по-прежнему близко нам, но пусть оно не сплетается и не срастается с нами до такой степени прочно, чтоб нельзя было отделить от нас, не ободрав у нас кожу и не вырвав заодно еще кусок мяса. Самая великая вещь на свете — это владеть собой.

Наступил час, когда нам следует расстаться с обществом, так как нам больше нечего предложить ему. И кто не может ссужать, тот не должен и брать взаймы. Мы теряем силы; соберем же их и прибережем для себя. Кто способен пренебречь

обязанностями, возлагаемыми на него дружбой и добрыми отношениями, и начисто вычеркнуть их из памяти, пусть сделает это! Но ему нужно остерегаться, как бы в эти часы заката, который превращает его в ненужного, тягостного и докучного для других, он не стал бы докучным и для себя самого, а также тягостным и ненужным. Пусть он нежит и ублажает себя, но, главное, пусть управляет собой, относясь с почтением и робостью к своему разуму и своей совести, — так, чтобы ему не было стыдно взглянуть им в глаза.

Сократ говорил, что юношам подобает учиться, взрослым — упражняться в добрых делах, старикам — отстраняться от всяких дел как гражданских, так и военных и жить по своему усмотрению без каких-либо определенных обязанностей.

Есть люди такого темперамента, что им легко дается соблюдение правил уединенной жизни. Натуры, чувства которых ленивы и вялы, а воля и страсти не отличаются большой пылкостью, вследствие чего они нелегко подчиняются им, увлекаются чем-либо, — таков и я, например, и по природному складу характера, и по моим убеждениям, — такие натуры скорее и охотнее примут этот совет, нежели души деятельные и

живые, стремящиеся охватить решительно все, вмешивающиеся во все, увлекающиеся всем, что бы ни попалось на глаза, предлагающие и себя и свои услуги во всех случаях жизни и готовые взяться за любое дело. Следует пользоваться случайными и не зависящими от нас удобствами, которые дарует нам жизнь, раз они доставляют нам удовольствие, но не следует смотреть на них как на главное в нашем существовании; это не так, и ни разум, ни природа не хотят этого. К чему, вопреки законам ее, ставить в зависимость удовлетворенность или неудовлетворенность нашей души от вещей, зависящих не от нас?

Предвосхищать возможные удары судьбы, лишать себя тех удобств, которыми мы можем располагать, — как это делали многие из благочестия, а некоторые философы — в соответствии со своими воззрениями, — отказываться от помощи слуг, спать на голых досках, выкалывать себе глаза, выбрасывать свое богатство в реку, искать страданий (первые — для того, чтобы мучениями в этой жизни снискать блаженство в грядущей, вторые — чтобы, спустившись на самую нижнюю ступень лестницы, обезопасить себя от падения еще ниже) — это чрезмерные проявления добродетели. Превращать же свой

тайник в источник собственной славы и в образец для других — пусть этим занимаются другие, те, которые тверже и крепче.

Что до меня, то мне хватает и своих дел, чтобы не забираться так далеко. Мне более чем достаточно, пока судьба дарит меня своей благосклонностью, подготовлять себя к ее неблагосклонности и, пребывая в благополучии, представлять себе настолько мрачное будущее, насколько хватает моего воображения, — наподобие того, как мы приучаем себя к фехтованию и турнирам, играя в войну среди нерушимого мира.

О страданиях

Людей, как гласит одно древнегреческое изречение, мучают не самые вещи, а представления, которые они создали себе о них. И если бы кто-нибудь мог установить, что это справедливо всегда и везде, он сделал бы чрезвычайно много для облегчения нашей жалкой человеческой участи. Ведь если страдания и впрямь порождаются в нас нашим рассудком, то, казалось бы, в нашей власти либо вовсе пренебречь ими, либо обратить их во благо. Если вещи отдают себя в наше распоряжение, то почему бы не подчинить их себе до конца и не приспособить к нашей собственной выгоде? И если то, что мы называем злом и мучением, не есть само по себе ни зло, ни мучение, и только наше воображение наделяет его подобными качествами, то не кто иной, как мы сами, можем изменить их на другие. Располагая свободой выбора, не испытывая никакого давления со стороны, мы, тем не менее, проявляем необычайное безумие, отдавая предпочтение самой тягостной для нас доле и наделяя болезни, нищету и позор горьким и отвратительным привкусом, тогда как могли бы сделать этот привкус

приятным; ведь судьба поставляет нам только сырой материал, и нам самим предоставляется придать ему форму.

Итак, давайте посмотрим, можно ли доказать, что то, что мы зовем злом, не является само по себе таковым, или, по крайней мере, чем бы оно ни являлось, — что от нас самих зависит придать ему другой привкус и другой облик, ибо все, в конце концов, сводится к этому.

Если бы подлинная сущность того, перед чем мы трепещем, располагала сама по себе способностью внедряться в наше сознание, то она внедрялась бы в сознание всех равным и тождественным образом, ибо все люди — одной породы и все они снабжены в большей или меньшей степени одинаковыми способностями и средствами познания и суждения. Однако различие в представлениях об одних и тех же вещах, которое наблюдается между нами, доказывает с очевидностью, что эти представления складываются у нас не иначе, как в соответствии с нашими склонностями; кто-нибудь, быть может, и воспринимает их, по счастливой случайности в согласии с их подлинной сущностью, но тысяча прочих видит в них совершенно иную, непохожую сущность.

Мы смотрим на смерть, нищету и страдание,

как на наших злейших врагов. Но кто же не знает, что та самая смерть, которую одни зовут ужаснейшею из всех ужасных вещей, для других — единственное прибежище от тревог здешней жизни, высшее благо, источник нашей свободы, полное и окончательное освобождение от всех бедствий? И в то время, как одни в страхе и трепете ожидают ее приближения, другие видят в ней больше радости, нежели в жизни. Большинство философов сами себе предписали смерть или, содействуя ей, ускорили ее.

А сколько мы знаем людей из народа, которые перед лицом смерти, и притом не простой и легкой, но сопряженной с тяжким позором, а иногда и с ужасающими мучениями, сохраняли такое присутствие духа, — кто из упрямства, а кто и по простоте душевной, — что в них не замечалось никакой перемены по сравнению с обычным их состоянием. Они отдавали распоряжения относительно своих домашних дел, прощались с друзьями, пели, обращались с назидательными и иного рода речами к народу, примешивая к ним иногда даже шутки, и, совсем как Сократ, пили за здоровье своих друзей. Один из них, когда его вели на виселицу, заявил, что не следует идти этой улицей, так как он может встретиться с

лавочником, который схватит его за шиворот: за ним есть старый должок. Другой просил палача не прикасаться к его шее, чтобы он не затрясся от смеха, до такой степени он боится щекотки. Третий ответил духовнику, который сулил ему, что уже вечером он разделит трапезу с нашим Спасителем: «В таком случае, отправляйтесь-ка туда сами; что до меня, то я нынче пощусь». Четвертый пожелал пить и, так как палач пригубил первым, сказал, что после него ни за что не станет пить, так как боится заболеть дурною болезнью.

Кто не слышал рассказа об одном пикардийце? Когда он уже стоял у подножия виселицы, к нему подвели публичную женщину и пообещали, что если он согласится жениться на ней, то ему будет дарована жизнь (ведь наше правосудие порою идет на это); взглянув на нее и заметив, что она припадает на одну ногу, он крикнул: «Валяй, надевай петлю! Она колченогая».

Существует рассказ в таком же роде об одном датчанине, которому должны были отрубить голову. Стоя уже на помосте, он отказался от помилования на сходных условиях лишь потому, что у женщины, которую ему предложили в жены, были ввалившиеся щеки и чересчур острый нос.

Если бы я стал перечислять всех лиц мужского и женского пола, принадлежавших к различным сословиям, исповедовавших самую различную веру, которые даже в былые, более счастливые времена с душевной твердостью ждали наступления смерти, больше того, сами искали ее, одни — чтобы избавиться от невзгод земного существования, другие — просто от пресыщения жизнью, третьи — в чаянии лучшего существования в ином мире, — я никогда бы не кончил. Число их столь велико, что поистине мне легче было бы перечесть тех, кто страшился смерти.

Только вот еще что. Однажды во время сильной бури философ Пиррон, желая ободрить некоторых из своих спутников, которые, как он видел, боялись больше других, указал им на находившегося вместе с ними на корабле борова, не обращавшего ни малейшего внимания на непогоду. Так что же, решимся ли мы утверждать, что преимущества, доставляемые нашим разумом, которым мы так гордимся и благодаря которому являемся господами и повелителями прочих тварей земных, даны нам на наше мучение? К чему нам познание вещей, если из-за него мы теряем спокойствие и безмятежность, которыми в противном случае обладали бы, и оказываемся

в худшем положении, чем боров Пиррона? Не употребим ли мы во вред себе способность разумения, дарованную нам ради нашего вящего блага, если будем применять ее наперекор целям природы и общему порядку вещей, предписывающему, чтобы каждый использовал свои силы и возможности на пользу себе?

Мне скажут, пожалуй: «Ваши соображения справедливы, пока речь идет о смерти. Но что скажете вы о нищете? Что скажете вы о страдании, на которое Аристипп, Иероним и большинство мудрецов смотрели как на самое ужасное из несчастий? И разве отвергавшие его на словах не признавали его на деле?» Помпей, придя навестить Посидония и застав его терзаемым тяжкой и мучительной болезнью, принес свои извинения в том, что выбрал столь неподходящее время, чтобы послушать его философские рассуждения. «Да не допустят боги, — ответил ему Посидоний, — чтобы боль возымела надо мной столько власти и могла воспрепятствовать мне рассуждать и говорить об этом предмете». И он сразу же пустился в рассуждения о презрении к боли. Между тем она делала свое дело и ни на мгновение не оставляла его, так что он, наконец, воскликнул: «Сколько бы ты, боль, ни старалась,

твои усилия тщетны; я все равно не назову тебя злом». Этот рассказ, которому придают столько значения, свидетельствует ли он в действительности о презрении к боли? Здесь идет речь лишь о борьбе со словами. Ведь если бы страдания не беспокоили Посидония, с чего бы ему прерывать свои рассуждения? И почему придавал он такую важность тому, что отказывал боли в наименовании ее злом?

Здесь не все зависит от воображения. Если в иных случаях мы и следуем произволу наших суждений, то тут есть некая достоверность, которая сама за себя говорит. Судьями в этом являются наши чувства. Можем ли мы заставить нашу кожу поверить, что удары бича лишь щекочут ее? Или убедить наши органы вкуса, что настойка алоэ — это белое вино?

Боров Пиррона — еще одно доказательство в нашу пользу. Он не знает страха перед смертью, но, если его начнут колотить, он станет визжать и почувствует боль. Можем ли мы побороть общий закон природы, согласно которому все живущее на земле боится боли? Деревья — и те как будто издают стоны, когда им наносят увечья.

Что касается смерти, то ощущать ее мы не можем; мы постигаем ее только рассудком, ибо от

жизни она отделена не более, чем мгновением. Тысячи животных, тысячи людей умирают прежде, чем успевают почувствовать приближение смерти. И действительно, когда мы говорим, что страшимся смерти, то думаем прежде всего о боли, ее обычной предшественнице.

Мне кажется, что ни то, что предшествует смерти, ни то, что за ней следует, собственно к ней не относится. Как говорит опыт, дело тут скорее в невыносимости для нас мысли о смерти, которая делает невыносимой также и боль, мучительность которой мы ощущаем вдвойне, поскольку она предвещает нам смерть. Но так как разум бросает нам упрек в малодушии за то, что мы боимся столь внезапной, столь неизбежной и столь неощутимой вещи, мы прибегаем к этому, наиболее удобному оправданию своего страха.

Любую болезнь, если она не таит в себе никакой другой опасности, кроме причиняемых ею страданий, мы зовем неопасною. Кто же станет считать зубную боль или, скажем, подагру, как бы мучительны они ни были, настоящей болезнью, раз они не смертельны? Но допустим, что в смерти нас больше всего пугает страдание, — совершенно так же, как и в нищете нет ничего страшного, кроме того, что, заставляя нас

терпеть голод и жажду, зной и холод, бессонные ночи и прочие невзгоды, она делает нас добычей страдания.

Так вот, будем вести речь только о физической боли. Я отдаю ей должное: она — наихудший из спутников нашего существования, и я признаю это с полной готовностью. Я принадлежу к числу тех, кто ненавидит ее всей душой, кто избегает ее, как только может, и, благодарение господу, до этого времени мне не пришлось еще по-настоящему познакомиться с нею. Но ведь в нашей власти, если не устранить ее полностью, то, во всяком случае, до некоторой степени умерить терпением и, как бы ни страдало наше тело, сохранить свой разум и свою душу неколебимыми.

Если бы это было не так, кто среди нас стал бы ценить добродетели, доблесть, силу, величие духа, решительность? В чем бы они проявляли себя, если бы не существовало страдания, с которым они вступают в борьбу? Если бы не приходилось спать на голой земле, выносить в полном вооружении полуденный зной, питаться кониной или ослятиной, подвергаться опасности быть изрубленным на куски, терпеть, когда у вас извлекают засевшую в костях пулю, зашивают рану, промывают, зондируют, прижигают ее ка-

леным железом, — в чем могли бы мы выказать то превосходство, которым желаем отличиться от низменных натур? И когда мудрецы говорят, что из двух одинаково славных деяний более заманчивым нам кажется то, выполнить которое составляет больше труда, то это отнюдь не похоже на совет избегать страданий и боли.

Кроме того, мы должны находить для себя утешение также и в том, что обычно, если боль весьма мучительна, она не бывает очень продолжительной, если же она продолжительна, то не бывает особенно мучительной. Ты не будешь испытывать ее слишком долго, если чувствуешь ее слишком сильно; она положит конец либо себе, либо тебе. И то и другое ведет, в итоге, к одному и тому же. Если ты не в силах перенести ее, она сама унесет тебя.

Невыносимо мучительной делается для нас боль оттого, что мы не привыкли искать высшего нашего удовлетворения в душе и ждать от нее главной помощи, несмотря на то, что именно она — единственная и полновластная госпожа и нашего состояния и нашего поведения. Нашему телу свойственно более или менее одинаковое сложение и одинаковые склонности. Душа же наша бесконечно изменчива и принимает са-

мые разнообразные формы, обладая при этом способностью приспосабливать к себе и к своему состоянию, — каким бы это состояние ни было, — ощущения нашего тела и все прочие его проявления. Вот почему ее должно изучать и исследовать, вот почему надо приводить в движение скрытые в ней могущественные пружины. Нет таких доводов и запретов, нет такой силы, которая могла бы противостоять ее склонностям и ее выбору. Перед нею — тысяча самых разнообразных возможностей; так предоставим же ей ту из них, которая может обеспечить нашу сохранность и наш покой, и тогда мы не только укроемся от ударов судьбы, но, даже испытывая страдания и обиды, будем считать, если она того пожелает, что нас осчастливили и облагодетельствовали ее удары.

Она извлекает для себя пользу решительно из всего. Даже заблуждения, даже сны — и они служат ее целям: у нее все пойдет в дело, лишь бы оградить нас от опасности и тревоги.

Легко видеть, что именно обостряет наши страдания и наслаждения: это — сила действия нашего ума. Животные, ум которых таится под спудом, предоставляют своему телу свободно и непосредственно, а следовательно, и почти

тождественно для каждого вида, выражать одолевающие их чувства; в этом легко убедиться, глядя на их движения, которые при сходных обстоятельствах всегда одинаковы. Если бы мы не стесняли в этом законных прав частей нашего тела, то надо думать, нам стало бы от этого много лучше, ибо природа наделила их в должной мере естественным влечением к наслаждению и естественной способностью переносить страдание. Да они и не могли бы быть неестественными, так как они свойственны всем и одинаковы для всех. Но поскольку мы отчасти освободились от предписаний природы, чтобы предаться необузданной свободе нашего воображения, постараемся, по крайней мере, помочь себе, направив его в наиболее приятную сторону.

Платон опасается нашей склонности предаваться всем своим существом страданию и наслаждению, потому что она слишком подчиняет душу нашему телу и привязывает ее к нему. Что до меня, то я опасаюсь скорее обратного, а именно, что она отрывает и отдаляет их друг от друга.

Подобно тому как враг, увидев, что мы обратились в бегство, еще больше распаляется, так и боль, подметив, что мы боимся ее, становится

еще безжалостней. Она, однако, смягчается, если встречает противодействие. Нужно сопротивляться ей, нужно с нею бороться. Но если мы падаем духом и поддаемся ей, мы тем самым навлекаем на себя грозящую нам гибель и ускоряем ее. И как тело, напрягшись, лучше выдерживает натиск, так и наша душа.

О самоубийстве

Смерть — не только избавление от болезней, она — избавление от всех зол. Это — надежнейшая гавань, которой никогда не надо бояться и к которой часто следует стремиться. Все сводится к тому же, кончает ли человек с собой или умирает; бежит ли он навстречу смерти или ждет, когда она придет сама; в каком бы месте нить ни оборвалась, это — конец клубка.

Самая добровольная смерть наиболее прекрасна. Жизнь зависит от чужой воли, смерть же — только от нашей. В этом случае больше, чем в каком-либо другом, мы должны сообразоваться только с нашими чувствами. Мнение других в таком деле не имеет никакого значения; очень глупо считаться с ним. Жизнь превращается в рабство, если мы не вольны умереть. Стоики утверждают, что для мудреца жить по велениям природы значит вовремя отказаться от жизни, хоть бы он и был в цвете сил; для глупца же естественно цепляться за жизнь, хотя бы он и был несчастлив, лишь бы он в большинстве вещей сообразовался, как они говорят, с природой.

Однако далеко не все в этом вопросе едино-

душны. Многие полагают, что больше стойкости — в том, чтобы жить с цепью, которою мы скованы, чем разорвать ее. Только неблагоразумие и нетерпение побуждают нас ускорять приход смерти. Никакие злоключения не могут заставить подлинную добродетель повернуться к жизни спиной; даже в горе и страдании она ищет своей пищи. Угрозы тиранов, костры и палачи только придают ей духу и укрепляют ее. Спрятаться в яме под плотной крышкой гроба, чтобы избежать ударов судьбы, — таков удел трусости, а не добродетели. Платон в своих «Законах» предписывает позорные похороны для того, кто лишил жизни и всего предназначенного ему судьбой своего самого близкого и больше чем друга, то есть самого себя, и сделал это не по общественному приговору и не по причине какой-либо печальной и неизбежной случайности и не из-за невыносимого стыда, а исключительно по трусости и слабости, то есть из малодушия.

Презрение к жизни — нелепое чувство, ибо в конечном счете она — все, что у нас есть, она — все наше бытие. Те существа, жизнь которых богаче и лучше нашей, могут осуждать наше бытие, но неестественно, чтобы мы презирали сами себя и пренебрегали собой; ненавидеть и прези-

рать самого себя — это какой-то особый недуг, не встречающийся ни у какого другого создания. Это такая же нелепость, как и наше желание не быть тем, что мы есть. Следствие такого желания не может быть нами оценено, не говоря уже о том, что оно само по себе противоречит и уничтожает себя. Тот, кто хочет из человека превратиться в ангела, ничего не достигнет, ничего не выиграет, ибо раз он перестает существовать, то кто же за него порадуется и ощутит это улучшение?

Кроме того, в судьбе человеческой бывает иной раз столько внезапных перемен, что трудно судить, в какой мере мы правы, полагая, будто не остается больше никакой надежды. Старинное присловие гласит: пока человек жив, он может на все надеяться. «Конечно, — отвечает на это Сенека, — но почему я должен думать о том, что фортуна может все сделать для того, кто жив, а не думать о том, что она ничего не может сделать тому, кто сумел умереть?».

В некоторых странах государственная власть вмешивалась и пыталась установить, в каких случаях правомерно и допустимо добровольно лишать себя жизни. В прежние времена в нашем Марселе хранился запас цикуты, заготовленный на государственный счет и доступный всем, кто

захотел бы укоротить свой век, но при условии, что причины самоубийства должны были быть одобрены советом шестисот, то есть сенатом; наложить на себя руки можно было только с разрешения магистрата и в узаконенных случаях.

Сошлюсь, кроме того, на пример из древней истории, девушек из Милета, которые, вступив в какой-то безумный сговор, вешались одна за другой до тех пор, пока в это дело не вмешались власти, издавшие приказ, что впредь тех, кого найдут повесившимися, на той же веревке будут волочить голыми по всему городу.

К нашей чести в будущих веках окажется, пожалуй, то, что один ученый автор наших дней, притом парижанин, всячески старается внушить нашим дамам, что лучше пойти на все, что угодно, только не принимать рокового, вызванного отчаянием, решения покончить жизнь с собой. Жаль, что ему осталось неизвестным одно острое словцо, которое могло бы усилить его доводы. Одна женщина в Тулузе, прошедшая через руки многих солдат, после говорила: «Слава богу, хоть раз в жизни я досыта насладилась, не согрешив».

Эти жестокости действительно не вяжутся с кротким нравом французского народа, и мы видим, что со времени этого забавного призна-

ния положение дел весьма улучшилось; с нас достаточно, чтобы наши дамы позволяли все, что угодно, но говорили при этом: «Нет, нет, ни за что!».

Плиний утверждает, что есть лишь три болезни, из-за которых можно лишить себя жизни; из них самая мучительная — это камни в мочевом пузыре, препятствующие мочеиспусканию. Сенека же считает наихудшими те болезни, которые надолго повреждают наши умственные способности.

Учиться умирать

Цицерон говорит, что философствовать — это не что иное, как приуготовлять себя к смерти. И это тем более верно, ибо исследование и размышление влекут нашу душу за пределы нашего бренного «я», отрывают ее от тела, а это и есть некое предвосхищение и подобие смерти; короче говоря, вся мудрость и все рассуждения в нашем мире сводятся, в конечном итоге, к тому, чтобы научить нас не бояться смерти. И в самом деле, либо наш разум смеется над нами, либо, если это не так, он должен стремиться только к одной-единственной цели, а именно, обеспечить нам удовлетворение наших желаний, и вся его деятельность должна быть направлена лишь на то, чтобы доставить нам возможность творить добро и жить в свое удовольствие, как сказано в Священном писании. Все в этом мире твердо убеждены, что наша конечная цель — удовольствие, и спор идет лишь о том, каким образом достигнуть его; противоположное мнение было бы тотчас отвергнуто, ибо кто стал бы слушать человека, утверждающего, что цель наших усилий — наши бедствия и страдания?

Разногласия между философскими школами в этом случае — чисто словесные. Здесь больше упрямства и препирательства по мелочам, чем подобало бы людям такого возвышенного призвания. Впрочем, кого бы ни взялся изображать человек, он всегда играет вместе с тем и себя самого. Что бы ни говорили, но даже в самой добродетели конечная цель — наслаждение. Мне нравится дразнить этим словом слух тех, кому оно очень не по душе. И когда оно действительно обозначает высшую степень удовольствия и полнейшую удовлетворенность, подобное наслаждение в большей мере зависит от добродетели, чем от чего-либо иного. Становясь более живым, острым, сильным и мужественным, такое наслаждение делается от этого лишь более сладостным. И нам следовало бы скорее обозначать его более мягким, более милым и естественным словом «удовольствие», нежели словом «вожделение», как его часто именуют.

Что до этого более низменного наслаждения, то если оно вообще заслуживает этого прекрасного названия, то разве что в порядке соперничества, а не по праву. Я нахожу, что этот вид наслаждения еще более, чем добродетель, сопряжен с неприятностями и лишениями всякого рода. Мало

того, что оно мимолетно, зыбко и преходяще, ему также присущи и свои бдения, и свои посты, и свои тяготы, и пот, и кровь; сверх того, с ним сопряжены особые, крайне мучительные и самые разнообразные страдания, а затем — пресыщение, до такой степени тягостное, что его можно приравнять к наказанию.



Замок Вертей в Вертей-сюр-Шарант. Современный вид.

Здесь Ларошфуко провел детство, а также годы

ссылки. Будучи в оппозиции политике кардинала Ришелье и его преемника кардинала Мазарини, он выступал на стороне королевы Анны Австрийской; позже участвовал в движении Фронды, которое пыталось бороться против молодого короля Людовика XIV. После поражения Фронды Ларошфуко по амнистии был отправлен в ссылку в Ангумуа, где поправлял разрушенное здоровье, занимался хозяйством и написанием своих «Мемуаров».

Мы глубоко заблуждаемся, считая, что эти трудности и помехи обостряют также наслаждение и придают ему особую пряность, подобно тому как это происходит в природе, где противоположности, сталкиваясь, вливают друг в друга новую жизнь; но в не меньшее заблуждение мы впадаем, когда, переходя к добродетели, говорим, что сопряженные с нею трудности и невзгоды превращают ее в бремя для нас, делают чем-то бесконечно суровым и недоступным, ибо тут гораздо больше, чем в сравнении с вышеназванным наслаждением, они облагораживают, обостряют и усиливают божественное и совершенное удовольствие, которое добродетель дарует нам. Поистине недостоин общения с добродетелью тот, кто кладет на чаши весов жертвы, которых

она от нас требует, и приносимые ею плоды, сравнивая их вес; такой человек не представляет себе ни благодеяний добродетели, ни всей ее прелести. Если кто утверждает, что достижение добродетели — дело мучительное и трудное и что лишь обладание ею приятно, это все равно как если бы он говорил, что она всегда неприятна. Разве есть у человека такие средства, с помощью которых кто-нибудь хоть однажды достиг полного обладания ею?

Наиболее совершенные среди нас почитали себя счастливыми и тогда, когда им выпадала возможность добиваться ее, хоть немного приблизиться к ней, без надежды обладать когда-нибудь ею. Но говорящие так ошибаются: ведь погоня за всеми известными нам удовольствиями сама по себе вызывает в нас приятное чувство. Само стремление порождает в нас желанный образ, а ведь в нем содержится добрая доля того, к чему должны привести наши действия, и представление о вещи едино с ее образом по своей сущности. Блаженство и счастье, которыми светится добродетель, заливают ярким сиянием все имеющее к ней отношение, начиная с преддверия и кончая последним ее пределом. И одно из главнейших благодеяний ее — презрение к

смерти; оно придает нашей жизни спокойствие и безмятежность, оно позволяет вкушать ее чистые и мирные радости; когда же этого нет — отравлены и все прочие наслаждения.

Вот почему все философские учения встречаются и сходятся в этой точке. И хотя они в один голос предписывают нам презирать страдания, нищету и другие невзгоды, которым подвержена жизнь человека, все же не это должно быть первейшей нашей заботою, как потому, что эти невзгоды не столь уже неизбежны (большая часть людей проживает жизнь, не испытав нищеты, а некоторые — даже не зная, что такое физическое страдание и болезни, каков, например, музыкант Ксенофил, умерший в возрасте ста шести лет и пользовавшийся до самой смерти прекрасным здоровьем), так и потому, что, на худой конец, когда мы того пожелаем, можно прибегнуть к помощи смерти, которая положит предел нашему земному существованию и прекратит наши мытарства.

Но что касается смерти, то она неизбежна, из чего следует, что если она внушает нам страх, то это является вечным источником наших мучений, облегчить которые невозможно. Она подкрадывается к нам отовсюду, и если она вселяет в нас ужас, то можно ли сделать хотя бы

один-единственный шаг, не дрожа при этом, как в лихорадке? Лекарство, применяемое невежественными людьми — вовсе не думать о ней. Но какая животная тупость нужна для того, чтобы обладать такой слепотой! Таким только и взнуздывать осла с хвоста, и нет ничего удивительного, что подобные люди нередко попадаются в западню. Они страшатся назвать смерть по имени, и большинство из них при произнесении кем-нибудь этого слова крестится так же, как при упоминании дьявола. И так как в завещании необходимо упомянуть смерть, то не ждите, чтобы они подумали о его составлении прежде, чем врач произнесет над ними свой последний приговор; и одному богу известно, в каком состоянии находятся их умственные способности, когда, терзаемые смертными муками и страхом, они принимаются, наконец, стряпать его.

Так как слог, обозначавший на языке римлян «смерть», слишком резал их слух, и в его звучании им слышалось нечто зловещее, они научились либо избегать его вовсе, либо заменять перифразами. Вместо того, чтобы сказать «он умер», они говорили «он перестал жить» или «он отжил свое». Поскольку здесь упоминается жизнь, хотя бы и завершившаяся, это приносило им извест-

ное утешение. Мы заимствовали отсюда наше: «покойный господин имя рек». При случае, как говорится, слово дороже денег.

Я родился между одиннадцатью часами и полночью, в последний день февраля тысяча пятьсот тридцать третьего года по нашему нынешнему летоисчислению, то есть, считая началом года январь. Две недели тому назад закончился тридцать девятый год моей жизни, и мне следует прожить, по крайней мере, еще столько же. Было бы безрассудством, однако, воздерживаться от мыслей о такой далекой, казалось бы, вещи. В самом деле, и стар и млад одинаково сходят в могилу. Всякий не иначе уходит из жизни, как если бы он только что вступил в нее. Добавьте сюда, что нет столь дряхлого старца, который, памятуя о Мафусаиле, не рассчитывал бы прожить еще годиков двадцать. Но, жалкий глупец, — ибо что же иное ты собой представляешь! — кто установил срок твоей жизни? Ты основываешься на болтовне врачей. Присмотрись лучше к тому, что окружает тебя, обратись к своему личному опыту. Если исходить из естественного хода вещей, то ты уже долгое время живешь благодаря особому благоволению неба. Ты превысил обычный срок человеческой жизни. И дабы ты мог убедиться в

этом, подсчитай, сколько твоих знакомых умерло ранее твоего возраста, и ты увидишь, что таких много больше, чем тех, кто дожил да твоих лет. Составь, кроме того, список украсивших свою жизнь славою, и я побьюсь об заклад, что в нем окажется значительно больше умерших до тридцатипятилетнего возраста, чем перешедших этот порог. Разум и благочестие предписывают нам считать образцом человеческой жизни жизнь Христа; но она кончилась для него, когда ему было тридцать три года. Величайший среди людей, на этот раз просто человек — я имею в виду Александра — умер в таком же возрасте. И каких только уловок нет в распоряжении смерти, чтобы захватить нас врасплох!

Но не все ли равно, скажете вы, каким образом это с нами произойдет? Лишь бы не мучиться! Я держусь такого же мнения, и какой бы мне ни представился способ укрыться от сыплющихся ударов, будь то даже под шкурой теленка, я не таков, чтобы отказаться от этого. Меня устраивает решительно все, лишь бы мне было покойно. Но было бы настоящим безумием питать надежды, что таким путем можно перейти в иной мир. Люди снуют взад и вперед, топчутся на одном месте, пляшут, а смерти нет и в помине. Все хорошо,

все как нельзя лучше. Но если она нагрянет, — к ним ли самим или к их женам, детям, друзьям, захватив их врасплох, беззащитными, — какие мучения, какие вопли, какая ярость и какое отчаянье сразу овладевают ими! Видели ли вы кого-нибудь таким же подавленным, настолько же изменившимся, настолько смятенным? Следовало бы поразмыслить об этих вещах заранее. А такая животная беззаботность, — если только она возможна у сколько-нибудь мыслящего человека (по-моему, она совершенно невозможна) — заставляет нас слишком дорогою ценой покупать ее блага.

Если бы смерть была подобна врагу, от которого можно убежать, я посоветовал бы воспользоваться этим оружием трусов. Но так как от нее ускользнуть невозможно, ибо она одинаково настигает беглеца, будь он плут или честный человек, давайте научимся встречать ее грудью и вступать с нею в единоборство. И, чтобы отнять у нее главный козырь, изберем путь, прямо противоположный обычному. Лишим ее загадочности, присмотримся к ней, приучимся к ней, размышляя о ней чаще, нежели о чем-либо другом. Будемте всюду и всегда вызывать в себе ее образ и притом во всех возможных ее обличиях.

Если под нами споткнется конь, если с крыши упадет черепица, если мы наколемся о булавку, будем повторять себе всякий раз: «А что, если это и есть сама смерть?» Благодаря этому мы окрепнем, сделаемся более стойкими. Посреди празднества, в разгар веселья пусть неизменно звучит в наших ушах все тот же припев, напоминающий о нашем уделе; не будем позволять удовольствиям захватывать нас настолько, чтобы время от времени у нас не мелькала мысль: как наша веселость непрочна, будучи постоянно мишенью для смерти, и каким только нежданным ударам ни подвержена наша жизнь! Так поступали египтяне, у которых был обычай вносить в торжественную залу, наряду с самыми лучшими яствами и напитками, мумию какого-нибудь покойника, чтобы она служила напоминанием для пирующих.

Неизвестно, где поджидает нас смерть; так будем же ожидать ее всюду. Размышлять о смерти — значит размышлять о свободе. Кто научился умирать, тот разучился быть рабом. Готовность умереть избавляет нас от всякого подчинения и принуждения. И нет в жизни зла для того, кто постиг, что потерять жизнь — не зло.

По правде сказать, в любом деле одним уме-

ньем и стараньем, если не дано еще кое-что от природы, многого не возьмешь. Я по натуре своей не меланхолик, но склонен к мечтательности. И ничто никогда не занимало моего воображения в большей мере, чем образы смерти. Даже в наиболее легкомысленную пору моей жизни, когда я жил среди женщин и забав, иной, бывало, думал, что я терзаюсь муками ревности или разбитой надеждой, тогда как в действительности мои мысли были поглощены каким-нибудь знакомым, умершим на днях от горячки, которую он подхватил, возвращаясь с такого же празднества, с душой, полною неги, любви и еще не остывшего возбуждения, совсем как это бывает со мною.

Эти раздумья не избороздили мне морщинами лба больше, чем все остальные. Впрочем, не бывает, конечно, чтобы подобные образы при первом своем появлении не причиняли нам боли. Но возвращаясь к ним все снова и снова, можно в конце концов, освоиться с ними. В противном случае — так было бы, по крайней мере, со мной — я жил бы в непрестанном страхе волнений, ибо никто никогда не доверял своей жизни меньше моего, никто меньше моего не рассчитывал на ее длительность. И превосходное здоровье, которым я наслаждаюсь посейчас и которое нарушалось

весьма редко, нисколько не может укрепить моих надежд на этот счет, ни болезни — ничего в них убавить.

Меня постоянно преследует ощущение, будто я все время ускользаю от смерти. И я без конца нашептываю себе: «Что возможно в любой день, то возможно также сегодня». И впрямь, опасности и случайности почти или — правильнее сказать — нисколько не приближают нас к вашей последней черте; и если мы представим себе, что, кроме такого-то несчастья, которое угрожает нам, по-видимому, всех больше, над нашей головой нависли миллионы других, мы поймем, что смерть действительно всегда рядом с нами, — и тогда, когда мы веселы, и когда горим в лихорадке, и когда мы на море, и когда у себя дома, и когда в сражении, и когда отдыхаем.

Мне всегда кажется, что до прихода смерти я так и не успею закончить то дело, которое должен выполнить, хотя бы для его завершения требовалось не более часа. Один мой знакомый, перебирая как-то мои бумаги, нашел среди них заметку по поводу некоей вещи, которую, согласно моему желанию, надлежало сделать после моей кончины. Я рассказал ему, как обстояло дело: находясь на расстоянии какого-нибудь лье от

дома, вполне здоровый и бодрый, я поторопился записать свою волю, так как не был уверен, что успею добраться к себе. Вынашивая в себе мысли такого рода и вбивая их себе в голову, я всегда подготовлен к тому, что это может случиться со мной в любое мгновенье. И как бы внезапно ни пришла ко мне смерть, в ее приходе не будет для меня ничего нового.

Нужно, чтобы сапоги были всегда на тебе, нужно, насколько это зависит от нас, быть постоянно готовыми к походу, и в особенности остерегаться, как бы в час выступления мы не оказались во власти других забот, кроме о себе, ведь забот у нас и без того предостаточно. Один сетует не столько даже на самую смерть, сколько на то, что она помешает ему закончить с блестящим успехом начатое дело; другой — что приходится переселяться на тот свет, не спев устроить замужество дочери или проследить за образованием детей; этот оплакивает разлуку с женой, тот — с сыном, так как в них была отрада всей его жизни.

Что до меня, то я, благодарение богу, готов убраться отсюда, когда ему будет угодно, не печалуясь ни о чем, кроме самой жизни, если уход из нее будет для меня тягостен. Я свободен от всяких пут; я наполовину уже распрощался со всеми,

кроме себя самого. Никогда еще не было человека, который был бы так основательно подготовлен к тому, чтобы уйти из этого мира, человека, который отрешился бы от него так окончательно, как, надеюсь, это удалось сделать мне.

Я хочу, чтобы люди действовали, чтобы они как можно лучше выполняли налагаемые на них жизнью обязанности, чтобы смерть застигла меня за посадкой капусты, но я желаю сохранить полное равнодушие и к ней, и, тем более, к моему не до конца возделанному огороду. Мне довелось видеть одно умирающего, который уже перед самой кончиной не переставал выражать сожаление, что злая судьба оборвала нить составляемой им истории на пятнадцатом или шестнадцатом из наших королей. Нужно избавиться от этих малодушных и гибельных настроений. И подобно тому, как наши кладбища расположены возле церквей или в наиболее посещаемых местах города, дабы приучить, как сказал Ликург, детей, женщин и простолюдинов не пугаться при виде покойников, а также, чтобы человеческие останки, могилы и похороны, наблюдаемые нами изо дня в день, постоянно напоминали об ожидающей нас судьбе, подобно также тому, как египтяне, по окончании пира, показывали

присутствующим огромное изображение смерти, причем державший его восклицал: «Пей и возвеселись сердцем, ибо, когда умрешь, ты будешь таким же», так и я приучал себя не только думать о смерти, но и говорить о ней всегда и везде. И нет ничего, что в большей мере привлекало б меня, чем рассказы о смерти такого-то или такого-то; что они говорили при этом, каковы были их лица, как они держали себя; это же относится и к историческим сочинениям, в которых я особенно внимательно изучая места, где говорится о том же. Это видно хотя бы уже из обилия приводимых мною примеров и из того необычайного пристрастия, какое я питаю к подобным вещам. Если бы я был сочинителем книг, я составил бы сборник с описанием различных смертей, снабдив его комментариями. Кто учит людей умирать, тот учит их жить.

Мне скажут, пожалуй, что действительность много ужаснее наших представлений о ней и что нет настолько искусного фехтовальщика, который не смутился бы духом, когда дело дойдет до этого. Пусть себе говорят, а все-таки размышлять о смерти наперед — это, без сомнения, вещь полезная. И потом, разве это безделица — идти до последней черты без страха и трепета? И больше

того: сама природа спешит нам на помощь и ободряет нас. Если смерть — быстрая и насильственная, у нас нет времени исполниться страхом пред нею; если же она не такова, то, насколько я мог заметить, втягиваясь понемногу в болезнь, я вместе с тем начинаю естественно проникаться известным пренебрежением к жизни.

Я нахожу, что обрести решимость умереть, когда я здоров, гораздо труднее, чем тогда, когда меня треплет лихорадка. Поскольку радости жизни не влекут меня больше с такою силою, как прежде, ибо я перестаю пользоваться ими и получать от них удовольствие, — я смотрю и на смерть менее испуганными глазами. Это вселяет в меня надежду, что чем дальше отойду я от жизни и чем ближе подойду к смерти, тем легче мне будет свыкнуться с мыслью, что одна неизбежно сменит другую. Убедившись на многих примерах в справедливости замечания Цезаря, утверждавшего, что издалека вещи кажутся нам нередко значительно большими, чем вблизи, я подобным образом обнаружил, что, будучи совершенно здоровым, я гораздо больше боялся болезней, чем тогда, когда они давали знать о себе: бодрость, радость жизни и ощущение собственного здоровья заставляют меня представлять себе противопо-

ложное состояние настолько отличным от того, в котором я пребываю, что я намного преувеличиваю в своем воображении неприятности, доставляемые болезнями, и считаю их более тягостными, чем оказывается в действительности, когда они настигают меня. Надеюсь, что и со смертью дело будет обстоять не иначе.

Рассмотрим теперь, как поступает природа, чтобы лишить нас возможности ощущать, несмотря на непрерывные перемены к худшему и постепенное увядание, которое все мы претерпеваем, и эти наши потери и наше постепенное разрушение. Что остается у старика из сил его юности, от его былой жизни? Когда один из телохранителей Цезаря, старый и изнуренный, встретив его на улице, подошел к нему и попросил отпустить его умирать, Цезарь, увидев, насколько он немощен, довольно остроумно ответил: «Так ты, оказывается, мнишь себя живым?» Я не думаю, что мы могли бы снести подобное превращение, если бы оно сваливалось на нас совершенно внезапно. Но жизнь ведет нас за руку по отлогому, почти неприметному склону, потихоньку до полегоньку, пока не ввергнет в это жалкое состояние, заставив исподволь свыкнуться с ним. Вот почему мы не ощущаем никаких потрясений, когда

наступает смерть нашей молодости, которая, право же, по своей сущности гораздо более жестока, нежели кончина еле теплящейся жизни, или же кончина нашей старости. Ведь прыжок от бытия-прозябания к небытию менее тягостен, чем от бытия-радости и процветания к бытию — скорби и муке.

Скрюченное и согбенное тело не в состоянии выдержать тяжелую ношу; то же и с нашей душой: ее нужно выпрямить и поднять, чтобы ей было под силу единоборство с таким противником. Ибо если невозможно, чтобы она пребывала спокойной, трепеща перед ним, то, избавившись от него, она приобретает право хвалиться, — хотя это, можно сказать, почти превосходит человеческие возможности, — что в ней не осталось более места для тревоги, терзаний, страха или даже самого легкого огорчения. Она сделалась госпожой своих страстей и желаний; она властвует над нуждой, унижением, нищетой и всеми прочими превратностями судьбы. Так давайте же, каждый в меру своих возможностей, добиваться столь важного преимущества! Вот где подлинная я ничем не стесняемая свобода, дающая нам возможность презирать насилие и произвол, и смеяться над тюрьмами и оковами!

И не только голос разума призывает нас к этому, говоря: стоит ля бояться потерять нечто такое, потеря чего уже не сможет вызвать в нас сожаления? — но и такое соображение: раз нам угрожают столь многие виды смерти, не тягостнее ли страшиться их всех, чем претерпеть какой-либо один? И раз смерть неизбежна, не все ли равно, когда она явится? Тому, кто сказал Сократу: «Тридцать тиранов осудили тебя на смерть», последний ответил: «А их осудила на смерть природа».

Какая бессмыслица огорчаться из-за перехода туда, где мы избавимся от каких бы то ни было огорчений!

Подобно тому как наше рождение принесло для нас рождение всего окружающего, так и смерть наша будет смертью всего окружающего. Поэтому столь же нелепо оплакивать, что через сотню лет нас не будет в живых, как то, что мы не жили за сто лет перед этим. Смерть одного есть начало жизни другого. Точно так же плакали мы, таких же усилий стоило нам вступить в эту жизнь, и так же, вступая в нее, срывали мы с себя свою прежнюю оболочку.

Не может быть тягостным то, что происходит один-единственный раз. Имеет ли смысл

трепетать столь долгое время перед столь быстротечною вещью? Долго ли жить, мало ли жить, не все ли равно, раз и то и другое кончается смертью? Ибо для того, что больше не существует, нет ни долгого ни короткого. Аристотель рассказывает, что на реке Гипанис обитают крошечные насекомые, живущие не дольше одного дня. Те из них, которые умирают в восемь часов утра, умирают совсем юными; умирающие в пять часов вечера умирают в преклонном возрасте. Кто же из нас не рассмеялся бы, если б при нем назвали тех и других счастливыми или несчастными, учитывая срок их жизни? Почти то же и с нашим веком, если мы сравним его с вечностью или с продолжительностью существования гор, рек, небесных светил, деревьев и даже некоторых животных.

Впрочем, природа не дает нам зажиться. Она говорит: «Уходите из этого мира так же, как вы вступили в него. Такой же переход, какой некогда бесстрастно и безболезненно совершили вы от смерти к жизни, совершите теперь от жизни к смерти. Ваша смерть есть одно из звеньев управляющего вселенной порядка; она звено мировой жизни. Неужели ради вас стану я нарушать эту дивную связь вещей? Раз смерть — обязательное

условие вашего возникновения, неотъемлемая часть вас самих, то значит, вы стремитесь бежать от самих себя. Ваше бытие, которым вы наслаждаетесь, одной своей половиной принадлежит жизни, другой — смерти. В день своего рождения вы в такой же мере начинаете жить, как умирать.

Всякое прожитое вами мгновение вы похищаете у жизни; оно прожито вами за ее счет. Непрерывное занятие всей вашей жизни — это взращивать смерть. Пребывая в жизни, вы пребываете в смерти, ибо смерть отстанет от вас не раньше, чем вы покинете жизнь.

Или, если угодно, вы становитесь мертвыми, прожив свою жизнь, но проживете вы ее, умирая: смерть, разумеется, несравненно сильнее поражает умирающего, нежели мертвого, гораздо острее и глубже.

Если вы познали радости в жизни, вы успели насытиться ими; так уходите же с удовлетворением в сердце; если же вы не сумели ею воспользоваться, если она поскупилась для вас, что вам до того, что вы потеряли ее, на что она вам?

Жизнь сама по себе — ни благо, ни зло: она вместилище и блага и зла, смотря по тому, во что вы сами превратили ее. И если вы прожили один-

единственный день, вы видели уже все. Каждый день таков же, как все прочие дни. Нет ни другого света, ни другой тьмы. Это солнце, эта луна, эти звезды, это устройство вселенной — все это то же, от чего вкусили пращуры ваши и что взрастит ваших потомков. И, на худой конец, все акты моей комедии, при всем разнообразии их, протекают в течение одного года. Если вы присматривались к хороводу четырех времен года, вы не могли не заметить, что они обнимают собою все возрасты мира: детство, юность, зрелость и старость. По истечении года делать ему больше нечего. И ему остается только начать все сначала. И так будет всегда — или вы воображаете, что я стану для вас создавать какие-то новые развлечения?

Освободите место другим, как другие освободили его для вас. Равенство есть первый шаг к справедливости. Кто может жаловаться на то, что он обречен, если все другие тоже обречены? Сколько бы вы ни жили, вам не сократить того срока, в течение которого вы пребудете мертвыми. Все усилия здесь бесцельны: вы будете пребывать в том состоянии, которое внушает вам такой ужас, столько же времени, как если бы вы умерли на руках кормилицы, и я поведу вас туда, где вы не будете испытывать никаких

огорчений и не будете желать жизни, о которой так сожалеете.

Страху смерти подобает быть ничтожнее, чем ничто, если существует что-нибудь ничтожнее, чем это последнее. Что вам до нее — и когда вы умерли, и когда живы? Когда живы — потому, что вы существуете; когда умерли — потому, что вас больше не существует.

Никто не умирает прежде своего часа. То время, что останется после вас, не более ваше, чем то, что протекало до вашего рождения; и ваше дело тут — сторона. Где бы ни окончилась ваша жизнь, там ей и конец. Мера жизни не в ее длительности, а в том, как вы использовали ее: иной прожил долго, да пожил мало, не мешкайте, пока пребываете здесь. Ваша воля, а не количество прожитых лет определяет продолжительность вашей жизни. Неужели вы думали, что никогда так и не доберетесь туда, куда идете, не останавливаясь? Да есть ли такая дорога, у которой не было бы конца? И если вы можете найти утешение в доброй компании то не идет ли весь мир той же стезею, что вы? Не начинает ли шататься все вокруг вас, едва пошатнетесь вы сами? Существует ли что-нибудь, что не старилось бы вместе с вами? Тысячи людей, тысячи животных, тысячи других

существ умирают в то же мгновение, что и вы.

Что пользы пятиться перед тем, от чего вам все равно не уйти? Вы видели многих, кто умер в самое время, ибо избавился, благодаря этому, от великих несчастий. Но видели ли вы хоть кого-нибудь, кому бы смерть причинила их? Не очень-то умно осуждать то, что не испытано вами, ни на себе, ни на другом. Почему же ты жалуешься и на меня и на свою участь? Разве мы несправедливы к тебе? Кому же надлежит управлять: нам ли тобою или тебе нами? Еще до завершения сроков твоих, жизнь твоя уже завершилась. Маленький человечек такой же цельный человек, как и большой.

Ни людей, ни жизнь человеческую не измерить локтями. Хирон отверг для себя бессмертие, узнав от Сатурна, своего отца, бога бесконечного времени, каковы свойства этого бессмертия. Вдумайтесь хорошенько в то, что называют вечной жизнью, и вы поймете, насколько она была бы для человека более тягостной и нестерпимой, чем та, что я даровала ему. Если бы у вас не было смерти, вы без конца осыпали б меня проклятиями за то, что я вас лишила ее. Я сознательно подмешала к ней чуточку горечи, дабы, принимая во внимание доступность ее, воспрепятствовать вам

слишком жадно и безрассудно устремляться навстречу ей. Чтобы привить вам ту умеренность, которой я от вас требую, а именно, чтобы вы не отвращались от жизни и вместе с тем не бежали от смерти, я сделала и ту и другую наполовину сладостными и наполовину скорбными.

Я внушила Фалесу, первому из ваших мудрецов, ту мысль, что жить и умирать — это одно и то же. И когда кто-то спросил его, почему же, в таком случае, он все-таки не умирает, он весьма мудро ответил: «Именно потому, что это одно и то же».

Вода, земля, воздух, огонь и другое, из чего сложено мое здание, суть в такой же мере орудия твоей жизни, как и орудия твоей смерти. К чему страшиться тебе последнего дня? Он лишь в такой же мере способствует твоей смерти, как и все прочие. Последний шаг не есть причина усталости, он лишь дает ее почувствовать. Все дни твоей жизни ведут тебя к смерти; последний только подводит к ней».

Таковы благие наставления нашей родительницы-природы. Я часто задумывался над тем, почему смерть на войне — все равно, касается ли это нас самих или кого-либо иного, — кажется нам несравненно менее страшной, чем у себя дома; в противном случае, армия состояла бы из

одних плакс да врачей; и еще: почему, несмотря на то, что смерть везде и всюду все та же, крестьяне и люди низкого звания относятся к ней много проще, чем все остальные? Я полагаю, что тут дело в печальных лицах и устрашающей обстановке, среди которых мы ее видим и которые порождают в нас страх еще больший, чем сама смерть. Какая новая, совсем необычная картина: стоны и рыдания матери, жены, детей, растерянные и смущенные посетители, услуги многочисленной челяди, их заплаканные и бледные лица, комната, в которую не допускается дневной свет, зажженные свечи, врачи и священники у вашего изголовья! Короче говоря, вокруг нас ничего, кроме испуга и ужаса. Мы уже заживо облачены в саван и преданы погребению. Дети боятся своих новых приятелей, когда видят их в маске, — то же происходит и с нами.

Нужно сорвать эту маску как с вещей, так, тем более, с человека, и когда она будет сорвана, мы обнаружим под ней ту же самую смерть, которую незадолго перед этим наш старый камердинер или служанка претерпели без всякого страха. Благостна смерть, не давшая времени для этих пышных приготовлений.

Франсуа Ларошфуко

Природа человека. Скептический взгляд (из «Размышлений на разные темы»)
О манере держать себя и поведении

Манера держать себя всегда должна быть в согласии с обликом человека и его природными склонностями: мы много теряем, присваивая себе манеру, нам чуждую.

Пусть каждый постарается изучить, какое поведение ему более всего подходит, строго придерживается этого поведения и, по мере сил, его совершенствует.

Дети большей частью потому так милы, что ни в чем не отступают от своей природы, ибо другого поведения и другой манеры держаться, кроме присущих им, они еще не знают. Став взрослыми, они их меняют и этим все портят: им кажется, что они должны подражать окружающим, но подражание их неумело, на нем лежит печать неуверенности и фальши. Их манеры, равно как и чувства, переменчивы, ибо эти люди стараются казаться иными, чем они есть на самом деле, вместо того, чтобы стать такими, какими хотят

казаться.

Каждый жаждет быть не собой, а кем-то другим, жаждет присвоить себе чуждый ему облик и неприсущий ум, заимствуя их у кого попало. Люди делают опыты над собой, не понимая, что подобающее одному вовсе не подобает другому, что нет общих правил для поведения и что копии всегда плохи.

Разумеется, двое людей могут во многом вести себя одинаково, отнюдь не копируя друг друга, если оба они следуют своей натуре, но это случай редкий: люди любят подражать, они часто подражают, сами того не замечая, и отказываются от своего достояния ради достояния чужого, идущего им, как правило, во вред.

Я вовсе не хочу этим сказать, что мы должны довольствоваться тем, чем наградила нас природа, не вправе следовать примерам и усваивать качества, полезные и необходимые, но не свойственные нам от рождения. Искусства и науки украшают почти всех способных к ним людей; благожелательность и учтивость всем к лицу; но и эти приобретенные свойства должны сочетаться и гармонировать с нашими собственными качествами, лишь тогда они будут неприметно развиваться и совершенствоваться.

Мы порою достигаем положения или сана слишком для нас высокого, часто беремся за ремесло, к которому природа нас не предназначила. И этому сану, и этому ремеслу подобает манера держать себя, не всегда схожая с нашей натуральной манерой. Перемена обстоятельств нередко изменяет и наше поведение, и мы напускаем на себя величественность, которая выглядит принужденно, если она чересчур подчеркнута и противоречит нашему облику. То, что нам дано от рождения, и то, что нами благоприобретено, должно быть слито и соединено в одно неразрывное целое.

Нельзя говорить тем же тоном и на неизменный лад о вещах различных, как нельзя одинаковой походкой идти во главе полка и на прогулке. Но, меняя тон в зависимости от предмета беседы, мы должны хранить полную непринужденность, как должны хранить ее, когда по-разному двигаемся, праздно прогуливаясь или возглавляя отряд.

Иные люди не только с готовностью отказываются от присущей им манеры держаться ради той, которую считают приличествующей достигнутому положению и сану, — они, еще только мечтая о возвышении, заранее начинают вести себя так, словно уже возвысились. Сколько полковников

ведут себя, как маршалы Франции, сколько судейских напускают на себя вид канцлеров, сколько горожанок играют роль герцогинь!

Люди часто вызывают неприязнь как раз потому, что не умеют сочетать манеру держаться и поведение со своим обликом, а тон и слова — с мыслями и чувствами. Они нарушают их гармонию чертами, им несвойственными, чужеродными, грешат против собственной натуры и все больше и больше себе изменяют. Мало кто свободен от этого порока и обладает слухом столь тонким, чтобы никогда не сфальшивить.

Множество людей с изрядными достоинствами тем не менее неприятны, множество людей с достоинствами куда меньшими всем нравятся. Вызвано это тем, что одни все время кому-то подражают, а другие таковы, какими они кажутся. Короче говоря, при любых наших природных недостатках и достоинствах мы тем приятнее окружающим, чем согласнее наш вид и тон, манеры и чувства с нашим обликом и положением в обществе, и тем неприятнее, чем большее между ними несоответствие.

Об умении вести беседу

Приятные собеседники потому так редко встречаются, что люди думают не о тех словах, которым внимают, а о тех, которые жаждут произнести. Человек, желающий, чтобы его выслушали, должен в свою очередь выслушать говорящих, дать им время высказаться, проявляя терпение, даже если они попусту разглагольствуют. Вместо того, чтобы, как это нередко бывает, тут же оспаривать и прерывать их, необходимо, напротив, проникнуться точкой зрения и вкусом собеседника, показать, что мы оценили их, завести разговор о том, что ему дорого, похвалить в его суждениях все, достойное похвалы, и не с видом снисхождения, а с полной искренностью.

Надо уклоняться от споров о предметах несущественных, не злоупотреблять вопросами, большей частью бесполезными, никогда не показывать, что себя мы считаем умнее прочих, и охотно предоставлять другим окончательное решение.

Говорить следует просто, понятно и в той мере серьезно, в какой допускают это познания и расположение духа слушателей, не понуждая их к

одобрению и даже не отвечая на него.

Отдав, таким образом, должное учтивости, мы можем высказать и наше мнение, не без предубежденности и упрямства, подчеркивая, что ищем у других подтверждения своим взглядам.

Будем как можно реже поминать себя и ставить в пример. Постараемся досконально понять, каковы пристрастия и способность к разумению у наших собеседников, и затем станем на сторону того, у кого этого разумения больше, присовокупив к его мыслям наши собственные, но столь скромно, чтобы он поверил, будто мы заимствовали их у него.

Благоразумно поступает тот, кто не исчерпывает сам предмета беседы и дает возможность другим что-то еще придумать и сказать.

Ни в коем случае не следует говорить тоном наставительным и употреблять слова и выражения, чрезмерно высокие для предмета беседы. Можно придерживаться своего мнения, если оно разумно, но, и оставаясь при нем, не будем задевать чужие чувства или возмущаться чужими речами.

Мы станем на опасный путь, если все время будем пытаться управлять течением беседы или

слишком часто говорить об одном и том же. Нам надлежит подхватывать любой разговор, приятный нашим собеседникам, не сворачивая его на предмет, о котором мы жаждем высказаться.

Будем твердо помнить, что, каких бы достоинств ни был исполнен человек, отнюдь не всякая беседа, даже отменно умная и достойная, может его одушевить; с каждым надо разговаривать о близких ему предметах и лишь тогда, когда это уместно.

Но если сказать слово кстати — большое искусство, то кстати промолчать — искусство еще большее. Красноречивым молчанием можно порою выразить и согласие, и неодобрение; бывает молчание насмешливое, бывает и почтительное.

Существуют, наконец, оттенки в выражении лица, в жестах, повадках, которые часто придают беседе приятность и утонченность или делают ее докучной и несносной. Умеют пользоваться этими оттенками немногие. Даже те самые люди, которые поучают правилам ведения беседы, иной раз совершают промахи. На мой взгляд, вернейшее из этих правил — если понадобится, изменять любому из них, лучше уж говорить небрежно, нежели напыщенно, слушать, помалкивать и никогда не понуждать себя к разговору.



Анна де Бурбон-Конде, герцогиня де Лонгвиль. Была главной вдохновительницей Фронды;

в любовной связи с герцогиней де Лонгвиль и под её влиянием много лет находился Франсуа Ларошфуко, от которого она родила сына. Эта связь закончилась разрывом, который биографы считают причиной мизантропии Ларошфуко и его пессимистического взгляда на жизнь.

Об откровенности

Хотя у искренности и откровенности много общего, все же между ними немало и различий.

Искренность — это чистосердечие, являющее нас такими, каковы мы на самом деле, это любовь к правде, отвращение к лицемерию, жажда покаяться в своих недостатках, чтобы, честно признавшись в них, тем самым отчасти их исправить.

Откровенность не дает нам такой свободы; ее рамки уже, она требует большей сдержанности и осторожности, и мы не всегда властны ею распоряжаться. Тут уже речь идет не о нас одних, наши интересы обычно тесно переплетены с интересами других людей, поэтому откровенность должна быть необычайно осмотрительна, иначе, предав нас, она предаст и наших друзей, повысив цену даруемого нами, принесет в жертву их благо.

Откровенность всегда приятна, тому, к кому она обращена: это дань, которую мы платим его добродетелям, достояние, которое вручаем его честности, залог, дающий ему права на нас, узы, добровольно налагаемые нами на себя.

Меня вовсе не надо понимать так, будто я стараюсь искоренить откровенность, столь необходимую в обществе, ибо на ней зиждутся все людские приязни, всякая дружба. Я только пытаюсь поставить ей пределы, дабы она не нарушала правил порядочности и верности. Я хочу, чтобы откровенность всегда была прямодушна и вместе с тем осмотрительна, чтобы она не поддавалась ни малодушию, ни своекорыстию. Мне хорошо известно, как трудно установить точные границы, в которых нам дозволено принимать откровенность наших друзей и в свою очередь быть откровенными с ними.

Чаще всего люди пускаются в откровенность из тщеславия, из неспособности молчать, из желания привлечь доверие и обменяться тайнами. Бывает так, что человек имеет все основания довериться нам, но у нас таких оснований нет; в этих случаях мы расплачиваемся тем, что храним его тайну и отделываемся маловажными признаниями. В других случаях мы знаем, что

человек нам неподкупно предан, что он ничего от нас не утаивает и что мы можем излить ему душу и по сердечному выбору и по здравому размышлению. Такому человеку мы должны поверять все, что касается только нас; должны показывать нашу истинную суть — наши достоинства непреувеличенными, равно как и недостатки непреуменьшенными; должны взять себе за твердое правило никогда не делать ему полупризнаний, ибо они всегда ставят в ложное положение того, кто их делает, нисколько не удовлетворяя того, кто выслушивает. Полупризнания искажают то, что мы желаем скрыть, разжигают любопытство в собеседнике, оправдывают его стремление выведать побольше и развязывают ему руки в отношении уже узнанного. Благоразумнее и честнее вовсе не говорить, чем недоговаривать.

Если же дело касается вверенных нам тайн, тут мы должны подчиняться другим правилам, и чем эти тайны важнее, тем от нас требуемся большая осмотрительность и умение держать слово. Все согласятся с тем, что чужую тайну надо хранить, но о природе самой тайны и о ее важности мнения могут и разойтись. Мы чаще всего сообразуемся со своим собственным суждением по поводу того,

о чем позволительно говорить, а о чем нужно молчать. На свете мало тайн, хранимых вечно, ибо голос щепетильности, требующий не выдавать чужого секрета, со временем умолкает.

Порою нас связывает дружба с людьми, чьи добрые чувства к нам уже испытаны; они всегда были откровенны с нами, и мы платили им тем же. Эти люди знают наши привычки и связи, они так хорошо изучили все наши повадки, что замечают малейшую перемену в нас. Они, возможно, почерпнули из другого источника то, что мы поклялись никогда и никому не разглашать, тем не менее не в нашей власти поведать им сообщенную нам тайну, даже если она в какой-то степени касается этих людей. Мы уверены в них, как в самих себе, и вот стоим перед трудным выбором: потерять их дружбу или нарушить обещание. Что говорить, нет более жестокого испытания верности слову, чем это, но порядочного человека оно не поколеблет: в этом случае ему дозволено себя предпочесть другим. Первейший его долг — нерушимо хранить доверенное ему чужое достояние. Он обязан не только следить за своими словами и голосом, но и остерегаться необдуманных замечаний, обязан ничем не выдавать себя, дабы его речи и выражение лица не навели других на след

того, о чем ему надобно молчать.

Нередко только с помощью незаурядной осмотрительности и твердости характера человеку удается противостоять тирании друзей, которые в большинстве своем считают, что они вправе посягать на нашу откровенность, и жаждут узнать о нас решительно все: такого исключительного права нельзя давать никому. Бывают встречи и обстоятельства, не подлежащие их надзору; если они начнут на это пенять, что ж, выслушаем кротко их упреки и постараемся спокойно оправдаться перед ними, но если они и дальше будут предъявлять неправые притязания, нам остается одно: пожертвовать их дружбой во имя долга, сделав, таким образом, выбор меж двух неизбежных зол, ибо одно из них еще можно исправить, тогда как другое непоправимо.

О приятельских отношениях

Говоря о приятельских отношениях, я не имею в виду дружбу: они очень различны, хотя и имеют кое-какие общие черты. Дружба возвышеннее и достойнее, и заслуга приятельских отношений в том и состоит, что они хоть немного да похожи на нее.

Итак, я буду рассматривать сейчас только те отношения, которые должны были бы существовать между всеми порядочными людьми. Незачем доказывать, что взаимная приязнь необходима для общества: все стремятся и тянутся к ней, но лишь немногие поистине стараются взлелеять ее и продлить.

Человек ищет житейских благ и удовольствий за счет своих ближних. Себя он предпочитает другим и почти всегда дает им это почувствовать, тем самым нарушая и даже губя добрые отношения, которые хотел бы с ними поддерживать. Нам следует хотя бы ловко скрывать пристрастие к себе, раз уж оно присуще нам от рождения и совсем отделаться от него невозможно. Будем радоваться чужой радости, уважать и щадить чужое самолюбие.

В этом трудном деле ум окажет нам немалую помощь, но он один не справится с ролью вожатого на всех путях, по которым нам должно идти. Связь, возникающая между умами одного склада, лишь в том случае окажется залогом прочных приятельских отношений, если их укрепят и поддержат здравый смысл, ровность духа и предупредительность, без которых невозможно взаимное доброжелательство.

Если иной раз и случается, что люди, противоположные по складу ума и духа, близки между собой, то объяснения этому надо искать в соображениях посторонних и, следственно, недолговечных. Бывает порой, что мы приятельствуем с людьми, которые ниже нас по рождению или достоинствам; в этом случае мы не должны злоупотреблять своими преимуществами, часто говорить о них или даже просто упоминать с целью иной, чем простое уведомление. Убедим наших приятелей, что нуждаемся в их указке, а указывая им, будем руководствоваться лишь разумом, оберегая сколько возможно чужие чувства и стремления.

Чтобы приятельские отношения не стали в тягость, пусть каждый сохранит свою свободу, пусть люди или вовсе не встречаются, или встречаются по общему желанию, вместе веселятся или даже вместе скучают. Между ними ничто не должно меняться и тогда, когда они расстаются. Им следует привыкнуть обходиться друг без друга, дабы встречи не превращались порой в обузу: надо помнить, что скорее всего наскучивает ближним тот, кто убежден, будто он никому не может наскучить… Желательно по мере сил заботиться о развлечении тех, с кем мы хотим

поддерживать добрые отношения, но нельзя превращать эту заботу в бремя.

Не может быть приятельских отношений без взаимной услужливости, но она не должна быть чрезмерной, не должна стать рабством. Пусть она хотя бы по виду будет добровольной, дабы наши приятели верили, что, ублажая их, мы ублажаем также и себя.

Нужно от всей души прощать приятелям их недостатки, если они заложены самой природой и невелики в сравнении с достоинствами. Нам не только не следует судить эти изъяны, но и замечать их. Попытаемся вести себя так, чтобы люди сами увидели свои дурные качества и, исправившись, считали это своей собственной заслугой.

Учтивость — это обязательное условие в отношениях между порядочными людьми: она научает их понимать шутки, не возмущаться и не возмущать других слишком резким или заносчивым тоном, который нередко появляется у тех, кто пылко отстаивает свое мнение.

Не могут эти отношения существовать и без некоторого взаимного доверия: людям должно быть присуще то выражение спокойной сдержанности, которое сразу рассеивает опасение услышать от них опрометчивые слова.

Трудно завоевать приязнь тому, кто умен всегда на один лад: человек с умом ограниченным быстро наскучивает. Не то важно, чтобы люди шли одним путем или обладали одинаковыми дарованиями, а то, чтобы все они были приятны в общении и так же строго соблюдали лад, как разные голоса и инструменты при исполнении музыкальной пьесы.

Маловероятно, чтобы у нескольких человек были одинаковые стремления, но необходимо, чтобы стремления эти хотя бы не противоречили друг другу.

Нужно идти навстречу желаниям наших приятелей, стараться оказывать им услуги, оберегать их от огорчений, внушать, что уж если мы не в силах отвратить от них беду, то хотя бы разделяем ее с ними, незаметно рассеивать печаль, не пытаясь мгновенно отогнать ее, занимать их внимание предметами приятными или развлекательными. Можно беседовать о том, что касается их одних, но только с их согласия, да и то не забывая о границах дозволенного. Порою благороднее и даже человечнее не слишком углубляться в их сердечные тайники: людям иной раз неприятно показать все, что они там видят у себя, но еще неприятнее им, когда посто-

ронние обнаруживают то, что они и сами еще как следует не разглядели. Пусть сперва добрые отношения помогут порядочным людям освоиться друг с другом и подскажут им множество тем для чистосердечных разговоров.

Мало кто так благоразумен и покладист, чтобы не отвергнуть иных дельных советов, как надлежит вести себя со своими приятелями. Мы согласны выслушать лишь те назидания, которые нам угодны, потому что сторонимся неприкрытой правды.

Разглядывая предметы, мы никогда не подходим к ним вплотную; не должны мы подходить вплотную и к нашим приятелям. А люди хотят, чтобы их рассматривали с определенного расстояния, и обычно бывают правы, не желая, чтобы их видели слишком отчетливо: все мы, за малыми исключениями, опасаемся предстать перед ближними такими, каковы мы на самом деле.

О любви

Авторы, бравшиеся за описание любви и ее прихотей, сравнивали это чувство с морем: было сказано, что любовь и море непостоянны и вероломны, что они несут людям несчетные блага,

равно как и несчетные беды, что наисчастливейшее плаванье тем не менее чревато страшными опасностями, что велика угроза рифов и бурь, что потерпеть кораблекрушение можно даже в гавани.

Но, перечислив все, на что можно уповать, и все, чего следует страшиться, эти авторы слишком мало, на мой взгляд, сказали о сходстве любви еле тлеющей, исчерпанной, отжившей с теми долгими штилями, с теми докучными затишьями, которые так часты в экваториальных морях. Люди утомлены длительным путешествием, мечтают о его конце, но, хотя земля уже видна, попутного ветра все нет и нет; зной и холод терзают их, болезни и усталость обессиливают; вода и пища пришли к концу или стали неприятны на вкус; кое-кто пытается ловить, даже вылавливает рыбу, но занятие это не приносит ни развлечения, ни еды. Человеку прискучило все, что его окружает, он погружен в свои мысли, постоянно скучает; он еще живет, но уже нехотя, жаждет, чтобы желания вывели его из этой болезненной истомы, но если они у него и рождаются, то немощные и никому не нужные.

Любовь во всем подобна жизни: они обе подвержены тем же возмущениям, тем же переменам.

Юная пора полна счастья и надежд: мы не меньше радуемся своей молодости, чем любви. Находясь в столь радужном расположении духа, мы начинаем желать и других благ, уже более основательных: не довольствуясь тем, что существуем на свете, мы хотим продвинуться на жизненном поприще, ломаем себе голову, как бы завоевать высокое положение и утвердиться в нем, стараемся войти в доверие к министрам, стать им полезными и не выносим, когда другие притязают на то, что приглянулось нам самим. Такое соревнование всегда чревато множеством забот и огорчений, но воздействие их смягчается приятным сознанием, что мы добились удачи: вожделения наши удовлетворены, и мы не сомневаемся, что будем счастливы вечно.

Однако чаще всего это блаженство быстро приходит к концу и, во всяком случае, теряет очарование новизны: едва добившись желаемого, мы сразу начинаем стремиться к новым целям, так как быстро привыкаем к тому, что стало нашим достоянием, и приобретенные блага уже не кажутся столь ценными и заманчивыми. Мы неприметно изменяемся, то, чего мы добились, становится частью нас самих и, хотя утрата его была бы жестоким ударом, обладание им не

приносит прежней радости: она потеряла свою остроту, и теперь мы ищем ее не в том, чего еще недавно так пылко желали, а где-то на стороне.

В этом невольном непостоянстве повинно время, которое, не спрашивая нас, частица за частицей поглощает и нашу жизнь, и нашу любовь. Что ни час, оно неощутимо стирает какую-нибудь черту юности и веселья, разрушая самую суть их прелести. Человек становится степеннее, и дела занимают его не меньше, чем страсть; чтобы не зачахнуть, любовь должна теперь прибегать ко всевозможным ухищрениям, а это означает, что она достигла возраста, когда уже виден конец. Но насильственно приблизить его никто из любящих не хочет, ибо на склоне любви, как и на склоне жизни, люди не решаются по доброй воле уйти от горестей, которые им еще остается претерпеть: перестав жить для наслаждений, они продолжают жить для скорбей.

Ревность, недоверие, боязнь наскучить, боязнь оказаться покинутым — эти мучительные чувства столь же неизбежно связаны с угасающей любовью, как болезни — с чересчур долгой жизнью: живым человек чувствует себя только потому, что ему больно, любящим — только потому, что испытывает все терзания любви.

Дремотное оцепенение слишком длительных привязанностей всегда кончается лишь горечью да сожалением о том, что связь все еще крепка. Итак, всякое одряхление тяжка, но всего невыносимее — одряхление любви.

О непостоянстве

У меня нет намерения заниматься здесь оправданием непостоянства, тем более если оно проистекает из одной только ветрености; но было бы несправедливостью приписать единственно ему все перемены, которым подвержена любовь. Ее первоначальный убор, нарядный и яркий, спадает с нее так же неприметно, как весенний цвет с плодовых деревьев; люди не виноваты в этом виновато одно лишь время. При зарождении любви внешность обольстительна, чувства согласны, человек жаждет нежности и наслаждений, хочет нравиться предмету своей любви, ибо сам от него в восторге, всеми, силами стремится показать, как бесконечно он его ценит. Но постепенно чувства, казавшиеся навек неизменными, становятся иными, нет ни прежнего пыла, ни очарования новизны, красота, играющая столь важную роль в любви, как бы тускнеет или пе-

рестает обольщать, и, хотя слово «любовь» все еще не сходит с уст, люди и отношения их уже не те, что были; они пока что верны своим обетам, но только по велению чести, по привычке, по нежеланию признаться себе в собственном непостоянстве.

Разве люди могли бы влюбляться, если бы с первого взгляда видели друг друга такими, какими видят по прошествии лет? Или разлучаться, если бы этот первоначальный взгляд остался неизменным? Гордость, почти всегда правящая нашими склонностями и не знающая пресыщения все время находила бы новые поводы ублажать себя лестью, зато постоянство утратило бы цену, ничего не значило бы для столь безмятежны: отношений; нынешние знаки благосклонности были бы не менее пленительны, чем прежние, и память не находила бы между ними никакого различия; непостоянства попросту не существовало бы, и люди любили бы друг друга все с той же пылкостью, ибо у них были бы все те же основания для любви.

Перемены в дружбе вызваны почти теми же причинами, что и пере мены в любви; хотя любовь полна одушевления и приятности, тогда как дружба должна быть уравновешеннее, строже,

взыскательнее, обе от подчинены схожим законам, и время, меняющее и наши устремления, и нрав, равно не щадит ни той, ни другой. Люди так слабодушны и непостоянны, что не в силах долго выдерживать бремя дружбы. Конечно древность дала нам ее примеры, но в наши дни настоящая дружба встречается едва ли не реже, чем настоящая любовь.

О различных типах ума

Могучий ум может обладать любыми свойствами, вообще присущими уму, но некоторые из них составляют его особую и неотъемлемую принадлежность: проницательность его не, знает пределов; он всегда равно и неустанно деятелен; зорко различает далекое, словно оно у него перед глазами; охватывает и постигает воображением грандиозное; видит и понимает мизерное; мыслит смело, широко, дельно, соблюдая во всем чувство меры; схватывает все до мельчайших подробностей и благодаря этому нередко обнаруживает истину, скрытую под таким густым покровом, что другим она незрима. Но, невзирая на эти редкостные свойства, самый могучий ум инок раз слабеет и мельчает, если им завладева-

ют пристрастия.

Изящный ум мыслит всегда благородно, излагает свои воззрения без труда, ясно, приятно и непринужденно, выставляя их в выгодном свете и расцвечивая подобающими украшениями; он умеет понять чужой вкус и изгоняет из своих мыслей все бесполезное или могущее не понравиться другим.

Ум гибкий, покладистый, вкрадчивый знает, как обойти и преодолеть трудности, в нужных случаях легко подлаживается под чужие мнения, проникает в особенности ума и пристрастий окружающих и, блюдя выгоду тех, с кем вступает в сношения, не забывает и добивается своей собственной.

Здравый ум видит все в надлежащем свете, оценивает по заслугам, знает, как повернуть обстоятельства благоприятнейшей для себя стороной и твердо придерживается своих воззрений, ибо не сомневается в их правильности и основательности.

Деловой ум не надо путать с умом корыстным: можно отлично разбираться в делах, не гоняясь при этом за собственной выгодой. Иные люди ловко действуют в обстоятельствах, их не затрагивающих, но на редкость неловки, когда речь

идет о них самих, между тем как другие, напротив, особой сметливостью не отличаются, однако из всего умеют извлечь выгоду.

Иногда ум самого серьезного склада сочетается со способностью к приятной и легкой беседе. Такой ум подобает и мужчинам и женщинам любого возраста. У молодых людей ум обычно веселый, насмешливый, но без всякого оттенка серьезности; поэтому они часто бывают утомительны. Роль записного забавника весьма неблагодарна, и ради похвал, которые иногда снискивает такой человек у окружающих, не стоит ставить себя в ложное положение, постоянно вызывая досаду этих же самых людей, когда у них дурное расположение духа.

Насмешливость — одно из самых привлекательных, равно как и самых опасных свойств ума. Остроумная насмешка неизменно забавляет людей, но так же неизменно они побаиваются того, кто слишком часто к ней прибегает. Тем не менее насмешка вполне дозволена, если она беззлобна и обращена главным образом на самих собеседников.

Склонность к шутке легко превращается в страсть к шутовству или издевке, и нужно обладать большим чувством меры, чтобы постоянно

шутить, не впадая в одну из этих крайностей. Шутливость можно определить, как общую веселость, которая увлекает воображение, заставляя его все видеть в смешном свете; она может быть мягкой или язвительной, в зависимости от склада характера. Иные люди умеют подшучивать в форме изящной и лестной: они высмеивают лишь те недостатки ближних, в которых последние охотно признаются, под видом порицания преподносят похвалы, прикидываются, будто хотят скрыть достоинства собеседника, а между тем искусно выставляют их напоказ.

Тонкий ум весьма отличается от ума лукавого и всегда приятен своей непринужденностью, изяществом и наблюдательностью. Лукавый ум никогда не идет к цели напрямик, а ищет к ней путей потайных и окольных. Эти уловки недолго остаются неразгаданными, неизменно внушают опасения окружающим и редко приносят серьезные победы.

Между умом пылким и умом блестящим тоже есть различие: первый быстрее все схватывает и глубже проникает, второй отличается живостью, остротой и чувством меры.

Мягкий ум снисходителен и уживчив и всем нравится, если только он не слишком пресен.

Ум систематический погружается в рассмотрение предмета, не упуская ни одной подробности и соблюдая все правила. Такое внимание обычно ограничивает его возможности; однако иной раз оно совмещается с широким кругозором, и тогда ум, обладающий обоими этими свойствами, неизменно выше других.

«Изрядный ум» — определение, которым слишком злоупотребляли; хотя такого рода уму могут быть присущи перечисленные здесь свойства, но его приписывали столь великому множеству дурных рифмоплетов и скучных писак, что теперь слова «изрядный ум» чаще употребляют, чтобы кого-нибудь осмеять, нежели чтобы похвалить.

Некоторые эпитеты, прилагаемые к слову «ум», обозначают как будто одно и то же, тем не менее различие между ними есть, и сказывается оно в тоне и в манере их произносить; но так как тон и манеру описать невозможно, я не стану вдаваться в частности, не поддающиеся объяснению. Все употребляют эти эпитеты, отлично понимая, что они значат. Когда говорят о человеке — «он умен», или «он, конечно, умен», или «он весьма умен», или «он бесспорно умен», только тон и манера подчеркивают различие между этими выражениями, сходными на бумаге и все же

относящимися к умам разного склада.

Порою говорят также, что у такого-то человека — «ум всегда на один лад», или «многообразный ум», или «всеобъемлющий ум». Можно быть вообще глупцом при несомненном уме, и можно быть неглупым человеком при уме самом незначительном. «Бесспорный ум» — выражение двусмысленное. Оно может подразумевать любое из упомянутых свойств ума, но иной раз в нем не содержится ничего определенного. Порою можно говорить довольно умно, а поступать глупо, обладать умом, но до крайности ограниченным, быть умным в одном, но неспособным к другому, быть бесспорно умным и ни к чему не пригодным, бесспорно умным и притом несносным. Главное достоинство такого рода ума, видимо, в том, что он, случается, бывает приятен в беседе.

Хотя проявления ума бесконечно разнообразны, их, мне кажется, можно различать по таким признакам: столь прекрасные, что каждый способен понять и почувствовать их красоту; не лишенные красот и вместе с тем нагоняющие скуку; прекрасные и всем нравящиеся, хотя никто не может объяснить, почему; столь тонкие и изысканные, что мало кто способен оценить все их красоты; несовершенные, но заключенные в

такую искусную форму, столь последовательно и изящно развитые, что вполне заслуживают восхищения.

О вкусах

У иных людей больше ума, чем вкуса, у других больше вкуса, чем ума. Людские умы не столь разнообразны и прихотливы, как вкусы.

Слово «вкус» имеет различные значения, и разобраться в них нелегко. Не следует путать вкус, влекущий нас к какому-либо предмету, и вкус, помогающий понять этот предмет и определить согласно всем правилам его достоинства и недостатки. Можно любить театральные представления, не обладая вкусом столь тонким и изящным, чтобы верно о них судить, и можно, вовсе их не любя, иметь достаточно вкуса для верного суждения. Порою вкус неприметно подталкивает нас к тому, что мы созерцаем, а иной раз бурно и неодолимо увлекает вслед за собой.

У одних вкус ошибочен во всем без исключения, у других он заблуждается лишь в некоторых областях, зато во всем доступном их разумению, точен и непогрешим, у третьих — причудлив, и они, зная это, ему не доверяют. Есть люди со вку-

сом неустойчивым, который зависит от случая; такие люди изменяют мнения по легкомыслию, восторгаются или скучают только потому, что восторгаются или скучают их друзья. Другие полны предрассуждений: они — рабы своих вкусов и почитают их превыше всего. Существуют и такие, которым приятно все, что хорошо, и невыносимо все, что дурно: взгляды их отличаются ясностью и определенностью, и подтверждений своему вкусу они ищут в доводах разума и здравомыслия.

Некоторые, следуя побуждению, непонятному им самим, сразу выносят приговор тому, что представлено на их суд, и при этом никогда не делают промахов. У этих людей вкуса больше, чем ума, ибо ни самолюбие, ни склонности не властны над их прирожденной проницательностью. Все в них гармония, все настроено на единый лад. Благодаря царящему в их душе согласию, они здраво судят и составляют себе правильное представление обо всем, но, вообще говоря, мало таких людей, чьи вкусы были бы устойчивы и независимы от вкусов общепринятых; большинство лишь следует чужим примерам и обычаю, черпая из этого источника почти все свои мнения.

Среди перечисленных здесь разнообразных вкусов трудно или почти невозможно обнару-

жить такого рода хороший вкус, который знал бы истинную цену всему, умел бы всегда распознавать подлинные достоинства и был бы всеобъемлющ. Познания наши слишком ограничены, а беспристрастие, столь необходимое для правильности суждений, большей частью присуще нам лишь в тех случаях, когда мы судим о предметах, которые нас не касаются. Если же речь идет о чем-то нам близком, вкус наш, колеблемый пристрастием к предмету, утрачивает это столь нужное ему равновесие. Все, что имеет отношение к нам, всегда выступает в искаженном свете, и нет человека, который с равным спокойствием смотрел бы на предметы дорогие ему и на предметы безразличные.

Когда речь идет о том, что нас задевает, вкус наш повинуется указке себялюбия и склонности; они подсказывают суждения, отличные от прежних, рождают неуверенность и бесконечную переменчивость. Наш вкус уже не принадлежит нам, мы им не располагаем. Он меняется помимо нашей воли, и знакомый предмет предстает перед нами со стороны столь неожиданной, что мы уже не помним, каким видели и ощущали его прежде.

О сходстве людей с животными

Люди, как и животные, делятся на множество видов, столь же несхожих между собой, как несхожи разные породы и виды животных. Сколько людей кормится тем, что проливают кровь невинных и убивают их! Одни подобны тиграм, всегда свирепым и жестоким, другие — львам, сохраняющим видимость великодушия, третьи — медведям, грубым и алчным, четвертые — волкам, хищным и безжалостным, пятые — лисам, которые добывают пропитание лукавством и обман избрали ремеслом.

А сколько людей похожи на собак! Они загрызают своих сородичей, бегут на охоту, чтобы потешить того, кто их кормит, всюду следуют за хозяином или стерегут его дом. Есть среди них храбрые гончие, которые посвящают себя войне, живут своей доблестью и не лишены благородства; есть неистовые доги, у которых нет иных достоинств, кроме бешеной злобы; есть псы, не приносящие пользы, которые часто лают, а порою даже кусаются, и есть просто собаки на сене.

Есть обезьяны, мартышки — приятные в обхождении, даже остроумные, но при этом очень

зловредные; есть и павлины, которые могут похвалиться красотой, зато, докучают своими криками и все вокруг портят.

Есть птицы, привлекающие своей пестрой расцветкой и пением. Сколько на свете попугаев, которые неумолчно болтают неведомо что; сорок и ворон, которые прикидываются ручными, чтобы воровать без опаски; хищных птиц, живущих грабежом; миролюбивых и кротких животных, которые служат пищей хищным зверям!

Есть кошки, всегда настороженные, коварные и изменчивые, но умеющие ласкать бархатными лапками; гадюки, чьи языки ядовиты, а все остальное даже полезно; пауки, мухи, клопы, блохи, несносные и омерзительные; жабы, внушающие ужас, хотя они всего-навсего ядовиты; совы, боящиеся света. Сколько животных укрывается от врагов под землей! Сколько лошадей, переделавших множество полезных работ, а потом, на старости лет, заброшенных хозяевами; волов, трудившихся весь свой век на благо тех, кто надел на них ярмо; стрекоз, только и знающих что петь; зайцев, всегда дрожащих от страха; кроликов, которые пугаются и тут же забывают о своем испуге; свиней, блаженствующих в грязи и мерзости; подсадных уток, предающих

и подводящих под выстрел себе подобных; воронов и грифов, чей корм — падаль и мертвечина! Сколько перелетных птиц, которые меняют одну часть света на другую и, пытаясь спастись от гибели, подвергают себя множеству опасностей! Сколько ласточек — неизменных спутниц лета, майских жуков, опрометчивых и беспечных, мотыльков, летящих на огонь и в огне сгорающих! Сколько пчел, почитающих свою родоначальницу и добывающих пропитание так прилежно и разумно; трутней, ленивых бродяг, которые норовят жить за счет пчел; муравьев, предусмотрительных, бережливых и поэтому не знающих нужды; крокодилов, проливающих слезы, чтобы, разжалобив жертву, потом ее сожрать! И сколько животных, порабощенных только потому, что сами не понимают, как они сильны!

Все эти свойства присущи человеку, и он ведет себя по отношению к себе подобным точно так, как ведут себя друг с другом животные, о которых мы только что говорили.

Удаление от света

Мне пришлось бы исписать слишком много страниц, начни я сейчас перечислять все оче-

видные причины, побуждающие старых людей удаляться от света: перемены в состоянии духа и во внешности, равно как телесная немощь неощутимо отталкивают их — и в этом они схожи с большинством животных — от общества им подобных. Гордость, неразлучная спутница себялюбия, заступает тут место разума: будучи уже не в состоянии ублажать себя тем, чем ублажаются другие, старики на опыте знают и цену радостям, столь желанным в юности, и невозможность предаваться им впредь. По прихоти ли судьбы, вследствие ли зависти и не справедливости окружающих, или из-за собственных промахов, но старикам недоступны способы обретения почестей, наслаждений, известности кажущиеся юношам такими легкими. Однажды сбившись с дороги, ведущей ко всему, что возвеличивает людей, они уже не могут на нее вернуться: она слишком длинна, трудна, полна препятствий, которые им отягченным годами, мнятся неодолимыми.

Старики охладевают к дружбе и не только потому, что, быть может, никогда и не ведали ее, но потом) еще, что похоронили очень многих друзей, не успевших или не имевших случая предать дружбу; с тем большей легкостью они убеждают

себя что умершие были им куда преданней, чем оставшиеся в живых. Они уже не причастны к тем главным благам, которые прежде разжигали их вожделения, почти непричастны даже к славе: та, что была завоевана, ветшает со временем, и, случается, люди, старея, теряют все, обретенное прежде.

Каждый день уносит крупицу их существа, и в — них остается слишком мало сил для наслаждения еще не утерянным, не говоря уже о погоне за желаемым. Впереди они видят только скорби, недуги, увядание; все ими испытано, ничто не имеет прелести новизны. Время неприметно оттесняет их от того места, откуда им хотелось бы смотреть на окружающих и где они сами являли бы внушительное зрелище. Иных счастливцев еще терпят в обществе, других откровенно презирают. Им остается единственный благоразумный выход — укрыть от света то, что некогда они, быть может, слишком выставляли напоказ.

Поняв, что все их желания бесплодны, они постепенно обретают вкус к предметам немым и бесчувственным — к постройкам, к сельскому хозяйству, к экономическим наукам, к ученым трудам, ибо тут они по-прежнему сильны и свободны: берутся за эти занятия или бросают

их, решают, как им быть и что делать дальше. Они могут исполнить любое свое желание и зависят уже не от света, а только от самих себя. Люди, обладающие мудростью, с пользой для себя употребляют остаток дней своих и, почти не связанные с этой жизнью, становятся достойными жизни иной и лучшей. Другие же хотя бы избавляются от посторонних свидетелей своего ничтожества; они погружены в собственные недуги; малейшее облегчение служит им заменою счастья, а их слабеющая плоть, более разумная, чем они сами, уже не терзает их мукой неисполнимых желаний.

Постепенно они забывают свет, с такой готовностью позабывший их, находят в уединении даже нечто утешительное для своего тщеславия и, терзаемые скукой, сомнениями, малодушием, влачат, повинуясь голосу благочестия или разума, а чаще всего по привычке, бремя томительной и безотрадной жизни.

Максимы и моральные размышления (из одноименной книги Ф. Ларошфуко)

1

То, что мы принимаем за добродетель, нередко оказывается сочетанием корыстных желаний и поступков, искусно подобранных судьбой или нашей собственной хитростью; так, например, порою женщины бывают целомудренны, а мужчины — доблестны совсем не потому, что им действительно свойственны целомудрие и доблесть.

2

Ни один льстец не льстит так искусно, как себялюбие.

3

Сколько ни сделано открытий в стране себялюбия, там еще осталось вдоволь неисследованных земель.

4

Ни один хитрец не сравнится в хитрости с себялюбием.

5

Долговечность наших страстей не более зависит от нас, чем долговечность жизни.

6

Страсть часто превращает умного человека в глупца, но не менее часто наделяет дураков умом.

7

Великие исторические деяния, ослепляющие нас своим блеском и толкуемые политиками как следствие великих замыслов, чаще всего являются плодом игры прихотей и страстей. Так, война между Августом и Антонием, которую объясняют их честолюбивым желанием властвовать над миром, была, возможно, вызвана просто-напросто ревностью.

REFLEXIONS
OV
SENTENCES
ET
MAXIMES
MORALES.



A PARIS,
Chez CLAVDE BARBIN, vis à vis
le Portail de la Sainte Chapelle,
au ſigne de la Croix.

M. DC. LXV.
AVEC PRIVILEGE DV ROY.

Титульный лист первого авторского издания «Максим». 1665 год.

Результатом жизненного опыта Ларошфуко стали его «Максимы» — сборник афоризмов, составляющих кодекс житейской философии. Здесь изображены преимущественно человеческие пороки, общий тон афоризмов — крайне острый и ядовитый.

8

Страсти — это единственные ораторы, доводы которых всегда убедительны; их искусство рождено как бы самой природой и зиждется на непреложных законах. Поэтому человек бесхитростный, но увлеченный страстью, может убедить скорее, чем красноречивый, но равнодушный.

9

Страстям присущи такая несправедливость и такое своекорыстие, что доверять им опасно и следует их остерегаться даже тогда, когда они кажутся вполне разумными.

10

В человеческом сердце происходит непрерывная смена страстей, и угасание одной из них почти всегда означает торжество другой.

11

Наши страсти часто являются порождением других страстей, прямо им противоположных: скупость порой ведет к расточительности, а расточительность — к скупости; люди нередко стойки по слабости характера и отважны из трусости.

12

Как бы мы ни старались скрыть наши страсти под личиной благочестия и добродетели, они всегда проглядывают сквозь этот покров.

13

Наше самолюбие больше страдает, когда порицают наши вкусы, чем когда осуждают наши взгляды.

14

Люди не только забывают благодеяния и обиды, но даже склонны ненавидеть своих благодетелей и прощать обидчиков.

Необходимость отблагодарить за добро и отомстить за зло кажется им рабством, которому они не желают покоряться.

15

Милосердие сильных мира сего чаще всего лишь хитрая политика, цель которой — завоевать любовь народа.

16

Хотя все считают милосердие добродетелью, оно порождено иногда тщеславием, нередко ленью, часто страхом, а почти всегда — и тем, и другим, и третьим.

17

Умеренность счастливых людей проистекает из спокойствия, даруемого неизменной удачей.

18

Умеренность — это боязнь зависти или презрения, которые становятся уделом всякого, кто ослеплен своим счастьем; это суетное хвастовство мощью ума; наконец, умеренность людей, достигших вершин удачи, — это желание казаться выше своей судьбы.

19

У нас у всех достанет сил, чтобы перенести несчастье ближнего.

20

Невозмутимость мудрецов — это всего лишь умение скрывать свои чувства в глубине сердца.

21

Невозмутимость, которую проявляют порой осужденные на казнь, равно как и презрение к смерти, говорит лишь о боязни взглянуть ей прямо в глаза; следовательно, можно сказать, что то и другое для их разума — все равно что повязка для их глаз.

22

Философия торжествует над горестями прошлого и будущего, но горести настоящего торжествуют над философией.

23

Немногим людям дано постичь, что такое смерть; в большинстве случаев на нее идут не по обдуманному намерению, а по глупости и по заведенному обычаю, и люди чаще всего умирают потому, что не могут воспротивиться смерти.

24

Когда великие люди наконец сгибаются под тяжестью длительных невзгод, они этим показывают, что прежде их поддерживала не столько сила духа, сколько сила честолюбия, и что герои отличаются от обыкновенных людей только большим тщеславием.

25

Достойно вести себя, когда судьба благоприятствует, труднее, чем когда она враждебна.

26

Ни на солнце, ни на смерть нельзя смотреть в упор.

27

Люди часто похваляются самыми преступными страстями, но в зависти, страсти робкой и стыдливой, никто не смеет признаться.

28

Ревность до некоторой степени разумна и справедлива, ибо она хочет сохранить нам наше достояние или то, что мы считаем таковым, между тем как зависть слепо негодует на то, что какое-то достояние есть и у наших ближних.

29

Зло, которое мы причиняем, навлекает на нас меньше ненависти и преследований, чем наши достоинства.

30

Чтобы оправдаться в собственных глазах, мы нередко убеждаем себя, что не в силах достичь цели; на самом же деле мы не бессильны, а безвольны.

31

Не будь у нас недостатков, нам было бы не так приятно подмечать их у ближних.

32

Ревность питается сомнениями; она умирает или переходит в неистовство, как только сомнения превращаются в уверенность.

33

Гордость всегда возмещает свои убытки и ничего не теряет, даже когда отказывается от тщеславия.

34

Если бы нас не одолевала гордость, мы не жа-

ловались бы на гордость других.

35

Гордость свойственна всем людям; разница лишь в том, как и когда они ее проявляют.

36

Природа, в заботе о нашем счастии, не только разумно устроила органы нашего тела, но еще подарила нам гордость, — видимо, для того, чтобы избавить нас от печального сознания нашего несовершенства.

37

Не доброта, а гордость обычно побуждает нас читать наставления людям, совершившим проступки; мы укоряем их не столько для того, чтобы исправить, сколько для того, чтобы убедить в нашей собственной непогрешимости.

38

Мы обещаем соразмерно нашим расчетам, а выполняем обещанное соразмерно нашим опасениям.

39

Своекорыстие говорит на всех языках и разыгрывает любые роли — даже роль бескорыстия.

40

Одних своекорыстие ослепляет, другим открывает глаза.

41

Кто слишком усерден в малом, тот обычно становится неспособным к великому.

42

У нас не хватает силы характера, чтобы покорно следовать всем велениям рассудка.

43

Человеку нередко кажется, что он владеет собой, тогда как на самом деле что-то владеет им; пока разумом он стремится к одной цели, сердце незаметно увлекает его к другой.

44

Сила и слабость духа — это просто неправильные выражения: в действительности же существует лишь хорошее или плохое состояние органов тела.

45

Наши прихоти куда причудливее прихотей судьбы.

46

В привязанности или равнодушии философов к жизни сказывались особенности их себялюбия, которые так же нельзя оспаривать, как особенности вкуса, как склонность к какому-нибудь блюду или цвету.

47

Все, что посылает нам судьба, мы оцениваем в зависимости от расположения духа.

48

Нам дарует радость не то, что нас окружает, а наше отношение к окружающему, и мы бываем счастливы, обладая тем, что любим, а не тем, что другие считают достойным любви.

49

Человек никогда не бывает так счастлив или так несчастлив, как это кажется ему самому.

50

Люди, верящие в свои достоинства, считают долгом быть несчастными, дабы убедить таким образом и других и себя в том, что судьба еще не воздала им по заслугам.

51

Что может быть сокрушительнее для нашего самодовольства, чем ясное понимание того, что сегодня мы порицаем вещи, которые еще вчера одобряли.

52

Хотя судьбы людей очень несхожи, но некоторое равновесие в распределении благ и несчастий как бы уравнивает их между собой.

53

Какими бы преимуществами природа ни наделила человека, создать из него героя она может, лишь призвав на помощь судьбу.

54

Презрение философов к богатству было вызвано их сокровенным желанием отомстить несправедливой судьбе за то, что она не наградила их по достоинствам жизненными благами; оно было тайным средством, спасающим от унижений бедности, и окольным путем к почету, обычно доставляемому богатством.

55

Ненависть к людям, попавшим в милость, вызвана жаждой этой самой милости. Досада на ее отсутствие смягчается и умиротворяется презре-

нием ко всем, кто ею пользуется; мы отказываем им в уважении, ибо не можем отнять того, что привлекает к ним уважение всех окружающих.

56

Чтобы упрочить свое положение в свете, люди старательно делают вид, что оно уже упрочено.

57

Как бы ни кичились люди величием своих деяний, последние часто бывают следствием не великих замыслов, а простой случайности.

58

Наши поступки словно бы рождаются под счастливой или несчастной звездой; ей они и обязаны большей частью похвал или порицаний, выпадающих на их долю.

59

Не бывает обстоятельств столь несчастных, чтобы умный человек не мог извлечь из них какую-нибудь выгоду, но не бывает и столь счастливых, чтобы безрассудный не мог обратить их

против себя.

60

Судьба все устраивает к выгоде тех, кому она покровительствует.

61

Счастье и несчастье человека в такой же степени зависят от его нрава, как от судьбы.

62

Искренность — это чистосердечие. Мало кто обладает этим качеством, а то, что мы принимаем за него, чаще всего просто тонкое притворство, цель которого — добиться откровенности окружающих.

63

За отвращением ко лжи нередко кроется затаенное желание придать вес нашим утверждениям и внушить благоговейное доверие к нашим словам.

64

Не так благотворна истина, как зловредна ее видимость.

65

Каких только похвал не возносят благоразумию! Однако оно не способно уберечь нас даже от ничтожнейших превратностей судьбы.

66

Дальновидный человек должен определить место для каждого из своих желаний и затем осуществлять их по порядку. Наша жадность часто нарушает этот порядок и заставляет нас преследовать одновременно такое множество целей, что в погоне за пустяками мы упускаем существенное.

67

Изящество для тела — это то же, что здравый смысл для ума.

68

Трудно дать определение любви; о ней можно лишь сказать, что для души — это жажда властвовать, для ума — внутреннее сродство, а для тела — скрытое и утонченное желание обладать, после многих околичностей, тем, что любишь.

69

Чиста и свободна от влияния других страстей только та любовь, которая таится в глубине нашего сердца и неведома нам самим.

70

Никакое притворство не поможет долго скрывать любовь, когда она есть, или изображать — когда ее нет.

71

Нет таких людей, которые, перестав любить, не начали бы стыдиться прошедшей любви.

72

Если судить о любви по обычным ее проявлениям, она больше похожа на вражду, чем на дружбу.

73

На свете немало таких женщин, у которых в жизни не было ни одной любовной связи, но очень мало таких, у которых была только одна.

74

Любовь одна, но подделок под нее — тысячи.

75

Любовь, подобно огню, не знает покоя: она перестает жить, как только перестает надеяться или бояться.

76

Истинная любовь похожа на привидение: все о ней говорят, но мало кто ее видел.

77

Любовь прикрывает своим именем самые разнообразные человеческие отношения, будто бы связанные с нею, хотя на самом деле она участвует в них не более, чем дож в событиях, происходящих в Венеции.

78

У большинства людей любовь к справедливости — это просто боязнь подвергнуться несправедливости.

79

Тому, кто не доверяет себе, разумнее всего молчать.

80

Мы потому так непостоянны в дружбе, что трудно познать свойства души человека и легко познать свойства его ума.

81

Мы способны любить только то, без чего не можем обойтись; таким образом, жертвуя собственными интересами ради друзей, мы просто следуем своим вкусам и склонностям. Однако именно эти жертвы делают дружбу подлинной и совершенной.

82

Примирение с врагами говорит лишь об усталости от борьбы, о боязни поражения и о желании занять более выгодную позицию.

83

Люди обычно называют дружбой совместное времяпрепровождение, взаимную помощь в делах, обмен услугами — одним словом, такие отношения, где себялюбие надеется что-нибудь выгадать.

84

Не доверять друзьям позорнее, чем быть ими обманутым.

85

Мы часто убеждаем себя в том, что действительно любим людей, стоящих над нами; между тем такая дружба вызвана одним лишь своекорыстием: мы сближаемся с этими людьми не ради того, что хотели бы им дать, а ради того, что хотели бы от них получить.

86

Своим недоверием мы оправдываем чужой обман.

87

Люди не могли бы жить в обществе, если бы не водили друг друга за нос.

88

Самолюбие увеличивает или умаляет добродетели наших друзей в зависимости от того, насколько мы довольны этими людьми: об их достоинствах мы судим по их отношению к нам.

89

Все жалуются на свою память, но никто не жалуется на свой разум.

90

В повседневной жизни наши недостатки кажутся порою более привлекательными, чем наши достоинства.

91

Самое большое честолюбие прячется и становится незаметным, как только его притязания наталкиваются на непреодолимые преграды.

92

Вывести из заблуждения человека, убежденного в собственных достоинствах, значит оказать ему такую же дурную услугу, какую некогда оказали тому афинскому безумцу, который считал себя владельцем всех кораблей, прибывающих в гавань.

93

Старики потому так любят давать хорошие советы, что уже не способны подавать дурные примеры.

94

Громкое имя не возвеличивает, а лишь унижает того, кто не умеет носить его с честью.

95

Поистине необычайными достоинствами обладает тот, кто сумел заслужить похвалу своих завистников.

96

Неблагодарность остается неблагодарностью даже и в том случае, когда облагодетельствованный повинен в ней меньше, чем благодетель.

97

Неправ тот, кто считает, будто ум и проницательность — различные качества. Проница-

тельность — это просто особенная ясность ума, благодаря которой он добирается до сути вещей, отмечает все, достойное внимания, и видит невидимое другим. Таким образом, все, приписываемое проницательности, является лишь следствием необычайной ясности ума.

98

Все расхваливают свою доброту, но никто не решается похвалить свой ум.

99

Учтивость ума заключается в способности думать достойно и утонченно.

100

Изысканность ума сказывается в умении тонко льстить.

101

Порою в нашем уме рождаются мысли в форме уже такой отточенной, какую он никогда не смог бы придать им, сколько бы ни ухищрялся.

102

Ум всегда в дураках у сердца.

103

Не всякий человек, познавший глубины своего ума, познал глубины своего сердца.

104

На каждого человека, как и на каждый поступок, следует смотреть с определенного расстояния. Иных можно понять, рассматривая их вблизи, другие же становятся понятными только издали.

105

Умен не тот, кого случай делает умным, а тот, кто понимает, что такое ум, умеет его распознать и любуется им.

106

Чтобы постичь окружающий нас мир, нужно знать его во всех подробностях, а так как этих

подробностей почти бесчисленное множество, то и знания наши всегда поверхностны и несовершенны.

107

Люди кокетничают, когда делают вид, будто им чуждо всякое кокетство.

108

Уму не под силу долго разыгрывать роль сердца.

109

Юность меняет свои вкусы из-за пылкости чувств, а старость сохраняет их неизменными по привычке.

110

Мы ничего не раздаем с такой щедростью, как советы.

111

Чем сильнее мы любим женщину, тем больше

склонны ее ненавидеть.

112

К старости недостатки ума становятся все заметнее, как и недостатки внешности.

113

Бывают удачные браки, но не бывает браков упоительных.

114

Люди безутешны, когда их обманывают враги или предают друзья, но они нередко испытывают удовольствие, когда обманывают или предают себя сами.

115

Так же легко обмануть себя и не заметить этого, как трудно обмануть другого и не быть изобличенным.

116

Сколько лицемерия в людском обычае совето-

ваться! Тот, кто просит совета, делает вид, что относится к мнению своего друга с почтительным вниманием, хотя в действительности ему нужно лишь, чтобы кто-то одобрил его поступки и взял на себя ответственность за них. Тот же, кто дает советы, притворяется, будто платит за оказанное доверие пылкой и бескорыстной жаждой услужить, тогда как на самом деле обычно рассчитывает извлечь таким путем какую-либо выгоду или снискать почет.

117

Притворяясь, будто мы попали в расставленную нам ловушку, мы проявляем поистине утонченную хитрость, потому что обмануть человека легче всего тогда, когда он хочет обмануть нас.

118

Если мы решим никогда не обманывать других, они то и дело будут обманывать нас.

119

Мы так привыкли притворяться перед другими, что под конец начинаем притворяться перед

собой.

120

Предательства совершаются чаще всего не по обдуманному намерению, а по слабости характера.

121

Люди делают добро часто лишь для того, чтобы обрести возможность безнаказанно творить зло.

122

Мы сопротивляемся нашим страстям не потому, что мы сильны, а потому, что они слабы.

123

Люди не знали бы удовольствия в жизни, если бы никогда себе не льстили.

124

Истинно ловкие люди всю жизнь делают вид, что гнушаются хитростью, а на самом деле они просто приберегают ее для исключительных

случаев, обещающих исключительную выгоду.

125

Злоупотребление хитростью говорит об ограниченности ума; люди, пытающиеся прикрыть таким способом свою наготу в одном месте, неизбежно разоблачают себя в другом.

126

Хитрость и предательство свидетельствуют лишь о недостатках ловкости.

127

Вернейший способ быть обманутым — это считать себя хитрее других.

128

Преувеличенная тонкость ведет к пустой щепетильности; только в истинной щепетильности скрыта настоящая тонкость.

129

Иногда достаточно быть грубым, чтобы избег-

нуть ловушки хитреца.

130

Слабость характера — это единственный недостаток, который невозможно исправить.

131

Легкое поведение — это наименьший недостаток женщин, известных своим легким поведением.

132

Проявить мудрость в чужих делах куда легче, нежели в своих собственных.

133

Копии хороши лишь тогда, когда они открывают нам смешные стороны дурных оригиналов.

134

В людях не так смешны те качества, которыми они обладают, как те, на которые они претендуют.

135

Порою человек так же мало похож на себя, как и на других.

136

Иные люди только потому и влюбляются, что они наслышаны о любви.

137

Люди охотно молчат, если тщеславие не побуждает их говорить.

138

Люди скорее согласятся себя чернить, нежели молчать о себе.

139

Одна из причин того, что умные и приятные собеседники так редки, заключается в обыкновении большинства людей отвечать не на чужие суждения, а на собственные мысли. Тот, кто похитрее и пообходительнее, пытается изобразить

на своем лице внимание, но его глаза и весь облик выдают отсутствие интереса к тому, что говорит другой, и нетерпеливое желание вернуться к тому, что намерен сказать он сам. Мало кто понимает, что такое старание угодить себе — плохой способ угодить другому или убедить его и что, только умея слушать и отвечать, можно быть хорошим собеседником.

140

Умный человек нередко попадал бы в затруднительное положение, не будь он окружен дураками.

141

Мы любим похваляться тем, что никогда не скучаем; тщеславие не позволяет нам признать, что в обществе нас могут счесть плохими собеседниками.

142

В то время как люди умные умеют выразить многое в немногих словах, люди ограниченные, напротив, обладают способностью много гово-

рить — и ничего не сказать.

143

Преувеличивая чужие добродетели, мы отдаем дань не столько им, сколько нашим собственным чувствам; мы ищем похвал себе, делая вид, что хвалим других.

144

Люди не любят хвалить и никогда не хвалят бескорыстно. Похвала — это искусная, скрытая, изящная лесть, приятная и тому, кто льстит, и тому, кому льстят: один принимает ее как награду за свои достоинства, другой преподносит, чтобы доказать свою справедливость и проницательность.

145

Мы часто выискиваем отравленные похвалы, косвенно открывающие в тех, кого мы хвалим, такие недостатки, на которые мы не осмеливаемся указать прямо.

146

Мы хвалим других обычно лишь для того, чтобы услышать похвалу себе.

147

Люди редко бывают достаточно разумны, чтобы предпочесть полезное порицание опасной похвале.

148

Иные упреки звучат как похвала, зато иные похвалы хуже злословия.

149

Уклонение от похвалы — это просьба повторить ее.

150

Жажда заслужить расточаемые нам похвалы укрепляет нашу добродетель; таким образом, похвалы нашему уму, доблести и красоте делают нас умнее, доблестнее и красивее.

151

Нам легче управлять людьми, чем помешать им управлять нами.

152

Если бы мы не льстили себе сами, нас не портила бы чужая лесть.

153

Наделяет нас достоинствами природа, а помогает их проявить судьба.

154

Судьба исправляет такие наши недостатки, каких не мог бы исправить даже разум.

155

Иные люди отталкивают, невзирая на все их достоинства, а другие привлекают при всех их недостатках.

156

Есть люди, все достоинства которых основаны на способности уместно говорить и делать глупости; если бы они изменили поведение, все было бы испорчено.

157

Слава великих людей всегда должна измеряться способами, какими она была достигнута.

158

Лесть — это фальшивая монета, которая имеет хождение только из-за нашего тщеславия.

159

Мало обладать выдающимися качествами, надо еще уметь ими пользоваться.

160

Любое, даже самое громкое деяние нельзя назвать великим, если оно не было следствием великого замысла.

161

Деяние и замысел должны соответствовать друг другу, не то заложенные в них возможности так и останутся неосуществленными.

162

Умение ловко пользоваться посредственными способностями не внушает уважения — и все же нередко приносит людям больше славы, чем истинные достоинства.

163

В очень многих случаях поведение людей только потому кажется смешным, что причины его, вполне разумные и основательные, скрыты от окружающих.

164

Человеку легче казаться достойным той должности, которой он не занимает, нежели той, в которой состоит.

165

Порядочные люди уважают нас за наши достоинства, а толпа — за благосклонность судьбы.

166

Свет чаще награждает видимость достоинств, нежели сами достоинства.

167

Скупость дальше от бережливости, чем даже расточительность.

168

Как ни обманчива надежда, все же до конца наших дней она ведет нас легкой стезей.

169

Хотя мы храним верность своему долгу нередко лишь из лени и трусости, все лавры за это достаются на долю наших добродетелей.

170

Нелегко разглядеть, чем вызван честный, искренний, благородный поступок — порядочностью или дальновидным расчетом.

171

Добродетели теряются в своекорыстии, как реки в море.

172

Если внимательно присмотреться к последствиям скуки, то окажется, что она заставляет отступать от долга чаще, чем даже своекорыстие.

173

Есть две разновидности любопытства: своекорыстное — внушенное надеждой приобрести полезные сведения, и самолюбивое — вызванное желанием узнать то, что неизвестно другим.

174

Было бы куда полезнее употребить все силы нашего разума на то, чтобы достойно сносить несчастья, уже случившиеся, нежели на то, чтобы предугадывать несчастья, которые еще только могут случиться.

175

Постоянство в любви — это вечное непостоянство, побуждающее нас увлекаться по очереди всеми качествами любимого человека, отдавая предпочтение то одному из них, то другому; таким образом, постоянство оказывается непостоянством, но ограниченным, то есть сосредоточенным на одном предмете.

176

Постоянство в любви бывает двух родов: мы постоянны или потому, что все время находим в любимом человеке новые качества, достойные любви, или же потому, что считаем постоянство долгом чести.

177

Постоянство не заслуживает ни похвал, ни порицаний, ибо в нем проявляется устойчивость вкусов и чувств, не зависящая от нашей воли.

178

К новым знакомствам нас обычно толкает не столько усталость от старых или любовь к переменам, сколько недовольство тем, что люди хорошо знакомые недостаточно нами восхищаются, и надежда на то, что люди мало знакомые будут восхищаться больше.

179

Мы постоянно жалуемся на друзей, чтобы заранее оправдать непостоянство нашей дружбы.

180

Наше раскаяние — это обычно не столько сожаление о зле, которое совершили мы, сколько боязнь зла, которое могут причинить нам в ответ.

181

Иногда непостоянство происходит от легкомыслия или от незрелости ума, побуждающих человека соглашаться с любым чужим мнением; но есть другого рода непостоянство, более простительное, ибо его порождает отвращение к окружающему.

182

Пороки входят в состав добродетелей, как яды в состав лекарств; благоразумие смешивает их, ослабляет их действие и потом умело пользуется ими как средством против жизненных невзгод.

183

К чести добродетели следует все же признать, что самые большие несчастья случаются с людьми не из-за нее, а из-за их собственных проступков.

184

Мы признаемся в своих недостатках для того, чтобы этой искренностью возместить ущерб, ко-

торый они наносят нам в мнении окружающих.

185

Зло, как и добро, имеет своих героев.

186

Мы презираем не тех, у кого есть пороки, а тех, у кого нет никаких добродетелей.

187

Видимость добродетели приносит своекорыстию не меньшую пользу, чем порок.

188

Здоровье души не менее хрупко, чем здоровье тела, и тот, кто мнит себя свободным от страстей, так же легко может им поддаться, как человек цветущего здоровья — заболеть.

189

С самого рождения каждого человека природа как бы предопределяет меру его добродетелей и пороков.

190

Только у великих людей бывают великие пороки.

191

Можно сказать, что пороки ждут нас на жизненном пути, как хозяева постоялых дворов, у которых приходится поочередно останавливаться, и я не думаю, чтобы опыт помог нам их избегнуть, даже если бы нам было дано пройти этот путь вторично.

192

Когда пороки покидают нас, мы стараемся уверить себя, что это мы покинули их.

193

Болезни души так же возвращаются к нам, как и болезни тела. То, что мы принимаем за выздоровление, обычно оказывается либо кратковременным облегчением старого недуга, либо началом нового.

194

Пороки души похожи на раны тела: как бы старательно их ни лечили, они все равно оставляют рубцы и в любую минуту могут открыться снова.

195

Всецело предаться одному пороку нам обычно мешает лишь то, что у нас их несколько.

196

Мы легко забываем свои ошибки, когда они известны лишь нам одним.

197

Есть люди, в дурные дела которых невозможно поверить, пока не убедишься собственными глазами. Однако нет таких людей, дурным делам которых стоило бы удивляться после того, как мы в них уже убедились.

198

Мы порою восхваляем доблести одного челове-

ка, чтобы унизить другого: так, например, люди меньше превозносили бы принца Конде, если бы не хотели опорочить маршала Тюренна, и наоборот.

199

Желание прослыть ловким человеком нередко мешает стать ловким в действительности.

200

Добродетель не достигала бы таких высот, если бы ей в пути не помогало тщеславие.

201

Тот, кто думает, что может обойтись без других, сильно ошибается; но тот, кто думает, что другие не могут обойтись без него, ошибается еще сильнее.

202

Люди мнимо благородные скрывают свои недостатки и от других и от себя, а люди истинно благородные прекрасно их сознают и открыто о них заявляют.

203

Истинно благородные люди никогда ничем не кичатся.

204

Строгость нрава у женщин — это белила и румяна, которыми они оттеняют свою красоту.

205

Целомудрие женщин — это большей частью просто забота о добром имени и покое.

206

Кто стремится всегда жить на виду у благородных людей, тот поистине благородный человек.

207

Безрассудство сопутствует нам всю жизнь; если кто-нибудь и кажется нам мудрым, то это значит лишь, что его безрассудства соответствуют его возрасту и положению.

208

Есть глупцы, которые сознают свою глупость и ловко ею пользуются.

209

Кто никогда не совершал безрассудств, тот не так мудр, как ему кажется.

210

К старости люди становятся безрассуднее — и мудрее.

211

Иные люди похожи на песенки: они быстро выходят из моды.

212

Большинство людей судит о ближних по их богатству или светским успехам.

213

Жажда славы, боязнь позора, погоня за бо-

гатством, желание устроить жизнь удобно и приятно, стремление унизить других — вот что нередко лежит в основе доблести, столь превозносимой людьми.

214

Для простого солдата доблесть — это опасное ремесло, за которое он берется, чтобы снискать себе пропитание.

215

Высшая доблесть и непреодолимая трусость — это крайности, которые встречаются очень редко. Между ними на обширном пространстве располагаются всевозможные оттенки храбрости, такие же разнообразные, как человеческие лица и характеры. Есть люди, которые смело встречают опасность в начале сражения, но легко охладевают и падают духом, если оно затягивается; другие делают то, чего от них требует общественное мнение, и на этом успокаиваются. Одни не всегда умеют овладеть своим страхом, другие подчас заражаются страхом окружающих, а третьи идут в бой просто потому, что не смеют оставаться на своих местах. Иные, привыкнув к

мелким опасностям, закаляются духом для встречи с более значительными. Некоторые храбры со шпагой в руках, но пугаются мушкетного выстрела; другие же смело стоят под пулями, но боятся обнаженной шпаги. Все эти различные виды храбрости схожи между собой в том, что ночью, — когда страх усиливается, а тьма равно скрывает и хорошие, и дурные поступки, — люди ревнивее оберегают свою жизнь. Но есть у людей еще один способ оберечь себя — и притом самый распространенный: делать меньше, чем они сделали бы, если бы знали наперед, что все сойдет благополучно. Из этого явствует, что страх смерти в какой-то мере ограничивает доблесть.

216

Высшая доблесть состоит в том, чтобы совершать в одиночестве то, на что люди обычно отваживаются лишь в присутствии многих свидетелей.

217

Бесстрашие — это необычайная сила души, возносящая ее над замешательством, тревогой и смятением, порождаемыми встречей с серьезной

опасностью. Эта сила поддерживает в героях спокойствие и помогает им сохранять ясность ума в самых неожиданных и ужасных обстоятельствах.

218

Лицемерие — это дань уважения, которую порок платит добродетели.

219

На войне большинство людей рискует жизнью ровно настолько, насколько это необходимо, чтобы не запятнать своей чести; но лишь немногие готовы всегда рисковать так, как этого требует цель, ради которой они идут на риск.

220

Тщеславие, стыд, а главное, темперамент — вот что обычно лежит в основе мужской доблести и женской добродетели.

221

Все хотят снискать славу, но никто не хочет лишиться жизни; поэтому храбрецы проявляют

не меньше находчивости и ума, чтобы избежать смерти, чем крючкотворцы — чтобы приумножить состояние.

222

Почти всегда по отроческим склонностям человека уже ясно, в чем его слабость и что приведет к падению его тело и душу.

223

Благодарность подобна честности купца: она поддерживает коммерцию. Часто мы оплачиваем ее счета не потому, что стремимся поступать справедливо, а для того, чтобы впредь люди охотнее давали нам взаймы.

224

Не всякий, кто платит долги благодарности, имеет право считать себя на этом основании благодарным человеком.

225

Ошибки людей в их расчетах на благодарность за оказанные ими услуги происходят оттого, что

гордость дающего и гордость принимающего не могут сговориться о цене благодеяния.

226

Чрезмерная поспешность в расплате за оказанную услугу есть своего рода неблагодарность.

227

Счастливые люди неисправимы: судьба не наказывает их за грехи, и поэтому они считают себя безгрешными.

228

Гордость не хочет быть в долгу, а самолюбие не желает расплачиваться.

229

Если кто-нибудь сделает нам добро, мы обязаны терпеливо сносить и причиняемое этим человеком зло.

230

Пример заразителен, поэтому все благодетели

рода человеческого и все злодеи находят подражателей. Добрым делам мы подражаем из чувства соревнования, дурным же — из врожденной злобности, которую стыд сдерживал, а пример выпустил на волю.

231

Нет ничего глупее желания всегда быть умнее всех.

232

Чем бы мы ни объясняли наши огорчения, чаще всего в их основе лежит обманутое своекорыстие или уязвленное тщеславие.

233

Человеческое горе бывает лицемерно по-разному. Иногда, оплакивая потерю близкого человека, мы в действительности оплакиваем самих себя: мы оплакиваем наши утраченные наслаждения, богатство, влияние, мы горюем о добром отношении к нам. Таким образом, мы проливаем слезы над участью живых, а относим их за счет мертвых. Этот род лицемерия я считаю невинным,

ибо в таких случаях люди обманывают не только других, но и себя. Однако есть лицемерие иного рода, более злостное, потому что оно сознательно вводит всех в заблуждение: я говорю о скорби некоторых людей, мечтающих снискать славу великим, неувядающим горем. После того как безжалостное время умерит печаль, которую эти люди некогда испытывали, они продолжают упорствовать в слезах, жалобах и вздохах. Они надевают на себя личину уныния и стараются всеми своими поступками доказать, что их грусть кончится лишь вместе с жизнью. Это мелкое и утомительное тщеславие встречается обычно у честолюбивых женщин. Так как их пол закрывает им все пути, ведущие к славе, они стремятся достигнуть известности, выставляя напоказ свое безутешное горе. Есть еще один неглубокий источник слез, которые легко льются и легко высыхают: люди плачут, чтобы прослыть чувствительными, плачут, чтобы вызвать сострадание, плачут, чтобы быть оплаканными, и, наконец, плачут потому, что не плакать стыдно.

234

Люди упрямо не соглашаются с самыми здравыми суждениями не по недостатку проница-

тельности, а из-за избытка гордости: они видят, что первые ряды в правом деле разобраны, а последние им не хочется занимать.

235

Горе друзей печалит нас недолго, если оно доставляет нам случай проявить на виду у всех наше участие к ним.

236

Порою может показаться, что себялюбие попадается в сети к доброте и невольно забывает о себе, когда мы трудимся на благо ближнего. В действительности же мы просто избираем кратчайший путь к цели, как бы отдаем деньги в рост под видом подарка, и таким образом применяем тонкий и изысканный способ завоевать доверие окружающих.

237

Похвалы за доброту достоин лишь человек, у которого хватает твердости характера на то, чтобы иной раз быть злым; в противном случае доброта чаще всего говорит лишь о бездеятель-

ности или о недостатке воли.

238

Причинять людям зло большей частью не так опасно, как делать им слишком много добра.

239

Ничто так не льстит нашему самолюбию, как доверие великих мира сего; мы принимаем его как дань нашим достоинствам, не замечая, что обычно оно вызвано тщеславием или неспособностью хранить тайну.

240

Привлекательность при отсутствии красоты — это особого рода симметрия, законы которой нам неизвестны; это скрытая связь между всеми чертами лица, с одной стороны, и чертами лица, красками и общим обликом человека — с другой.

241

Кокетство — это основа характера всех женщин, только не все пускают его в ход, ибо у некоторых

оно сдерживается боязнью или рассудком.

242

Чаще всего тяготят окружающих те люди, которые считают, что они никому не могут быть в тягость.

243

На свете мало недостижимых вещей; будь у нас больше настойчивости, мы могли бы отыскать путь почти к любой цели.

244

Высшая ловкость состоит в том, чтобы всему знать истинную цену.

245

Поистине ловок тот, кто умеет скрывать свою ловкость.

246

То, что мы принимаем за благородство, нередко оказывается переряженным честолюбием,

которое, презирая мелкие выгоды, прямо идет к крупным.

247

Преданность — это в большинстве случаев уловка самолюбия, цель которой — завоевать доверие; это способ возвыситься над другими людьми и проникнуть в важнейшие тайны.

248

Великодушие всем пренебрегает, чтобы всем завладеть.

249

В звуке голоса, в глазах и во всем облике говорящего заключено не меньше красноречия, чем в выборе слов.

250

Истинное красноречие — это умение сказать все, что нужно, и не больше, чем нужно.

251

Одним людям идут их недостатки, а другим даже достоинства не к лицу.

252

Вкусы меняются столь же часто, сколь редко меняются склонности.

253

Своекорыстие приводит в действие все добродетели и все пороки.

254

Смирение нередко оказывается притворной покорностью, цель которой — подчинить себе других; это — уловка гордости, принижающей себя, чтобы возвыситься, и хотя у гордости тысяча обличий, но самое искусное и самое обманчивое из них — смирение.

255

У всякого чувства есть свойственные лишь ему

одному жесты, интонации и мимика; впечатление от них, хорошее или дурное, приятное или неприятное, и служит причиной того, что люди располагают нас к себе или отталкивают.

256

Каждый человек, кем бы он ни был, старается напустить на себя такой вид и надеть такую личину, чтобы его приняли за того, кем он хочет казаться; поэтому можно сказать, что общество состоит из одних только личин.

257

Величавость — это непостижимая уловка тела, изобретенная для того, чтобы скрыть недостатки ума.

258

Хороший вкус говорит не столько об уме, сколько о ясности суждений.

259

Счастье любви заключается в том, чтобы любить; люди счастливее, когда сами испытывают

страсть, чем когда ее внушают.

260

Вежливость — это желание всегда встречать вежливое обращение и слыть обходительным человеком.

261

Воспитание молодых людей обычно сводится к поощрению их врожденного себялюбия.

262

Ни в одной страсти себялюбие не царит так безраздельно, как в любви; люди всегда готовы принести в жертву покой любимого существа, лишь бы сохранить свой собственный.

263

В основе так называемой щедрости обычно лежит тщеславие, которое нам дороже всего, что мы дарим.

264

Чаще всего сострадание — это способность увидеть в чужих несчастьях свои собственные, это — предчувствие бедствий, которые могут постигнуть и нас. Мы помогаем людям, чтобы они в свою очередь помогли нам; таким образом, наши услуги сводятся просто к благодеяниям, которые мы загодя оказываем самим себе.

265

Упрямство рождено ограниченностью нашего ума: мы неохотно верим тому, что выходит за пределы нашего кругозора.

266

Ошибается тот, кто думает, будто лишь таким бурным страстям, как любовь и честолюбие, удается подчинить себе другие страсти. Самой сильной нередко оказывается бездеятельная леность: завладевая людскими помыслами и поступками, она незаметно подтачивает все их стремления и добродетели.

267

Люди потому так охотно верят дурному, не стараясь вникнуть в суть дела, что они тщеславны и ленивы. Им хочется найти виновных, но они не желают утруждать себя разбором совершенного проступка.

268

Мы по самым ничтожным поводам обвиняем судей в незнании дела и тем не менее охотно отдаем свою честь и доброе имя на их суд, хотя все они нам враждебны — одни из зависти, другие по ограниченности, третьи просто по занятости. Надеясь на то, что эти люди выскажутся в нашу пользу, мы рискуем своим покоем и даже жизнью.

269

Как бы ни был проницателен человек, ему не постигнуть всего зла, которое он творит.

270

Слава, уже приобретенная нами, — залог той

славы, которую мы рассчитываем приобрести.

271

Молодость — это постоянное опьянение, это горячка рассудка.

272

Тому, чьи достоинства уже награждены подлинной славой, больше всего следовало бы стыдиться усилий, которые он прилагает, чтобы ему поставили в заслугу всякие пустяки.

273

В свете иной раз высоко ценят людей, все достоинства которых сводятся к порокам, приятным в повседневной жизни.

274

Очарование новизны в любви подобно цветению фруктовых деревьев: оно быстро тускнеет и больше никогда не возвращается.

275

Природное добродушие, которое любит похваляться своей чувствительностью, нередко умолкает, побежденное самым мелочным своекорыстием.

276

Разлука ослабляет легкое увлечение, но усиливает большую страсть, подобно тому как ветер гасит свечу, но раздувает пожар.

277

Нередко женщины, нисколько не любя, все же воображают, будто они любят: увлечение интригой, естественное желание быть любимой, подъем душевных сил, вызванный приключением, и боязнь обидеть отказом — все это приводит их к мысли, что они страстно влюблены, хотя в действительности всего лишь кокетничают.

278

Люди редко бывают довольны теми, кто от их имени вступает в деловые переговоры, так как

посредники, стараясь стяжать себе добрую славу, почти всегда жертвуют интересами своих друзей ради успеха самих переговоров.

279

Когда мы преувеличиваем привязанность к нам наших друзей, нами обычно руководит не столько благодарность, сколько желание выставить напоказ наши достоинства.

280

Доброжелательность, с которой люди порою приветствуют тех, кто впервые вступает в свет, обычно бывает вызвана тайной завистью к тем, кто уже давно занимает в нем прочное положение.

281

Гордость часто разжигает в нас зависть, и та же самая гордость нередко помогает нам с ней справиться.

282

Ложь иной раз так ловко прикидывается ис-

тиной, что не поддаться обману значило бы изменить здравому смыслу.

283

Для того, чтобы воспользоваться хорошим советом со стороны, подчас требуется не меньше ума, чем для того, чтобы подать хороший совет самому себе.

284

Опаснее всего те злые люди, которые не совсем лишены доброты.

285

Великодушие довольно точно определено своим названием; кроме того, можно сказать, что оно — здравый смысл гордости и самый достойный путь к доброй славе.

286

Мы не можем вторично полюбить тех, кого однажды действительно разлюбили.

287

Мы находим несколько решений одного и того же вопроса не столько потому, что наш ум очень плодовит, сколько потому, что он не слишком прозорлив и, вместо того чтобы остановиться на самом лучшем решении, представляет нам без разбора все возможности сразу.

288

При некоторых обстоятельствах, точно так же, как при некоторых болезнях, помощь со стороны может иной раз только повредить; требуется большая проницательность, чтобы распознать те случаи, когда она опасна.

289

Показная простота — это утонченное лицемерие.

290

В характере человека больше изъянов, чем в его уме.

291

У людских достоинств, как и у плодов, есть своя пора.

292

Можно сказать, что у человеческих характеров, как и у некоторых зданий, несколько фасадов, причем не все они приятны на вид.

293

Умеренность не имеет права хвалиться тем, что она одолевает честолюбие и подчиняет его себе. Умеренность — это душевная бездеятельность и леность, тогда как честолюбие — это живость и горячность, и они никогда не живут вместе.

294

Мы всегда любим тех, кто восхищается нами, но не всегда любим тех, кем восхищаемся мы.

295

Мы редко до конца понимаем, чего мы в дей-

ствительности хотим.

296

Трудно любить тех, кого мы совсем не уважаем, но еще труднее любить тех, кого уважаем больше, чем самих себя.

297

Соки нашего тела, совершая свой обычный и неизменный круговорот, тайно приводят в действие и направляют нашу волю; сливаясь в единый поток, они незаметно властвуют над нами, воздействуя на все наши поступки.

298

Признательность большинства людей порождена скрытым желанием добиться еще больших благодеяний.

299

Почти все люди охотно расплачиваются за мелкие одолжения, большинство бывает признательно за немаловажные, но почти никто не чувствует благодарности за крупные.

300

Иные безрассудства распространяются точно заразные болезни.

301

Многие презирают жизненные блага, но почти никто не способен ими поделиться.

302

Мы лишь тогда осмеливаемся проявлять неверие в силу и влияние небесных светил, когда речь идет о делах несущественных.

303

Какие бы похвалы нам ни расточали, мы не находим в них ничего для себя нового.

304

Мы нередко относимся снисходительно к тем, кто тяготит нас, но никогда не бываем снисходительны к тем, кто тяготится нами.

305

Своекорыстие винят во всех наших преступлениях, забывая при этом, что оно нередко заслуживает похвалы за наши добрые дела.

306

Пока человек в состоянии творить добро, ему не грозит опасность столкнуться с неблагодарностью.

307

Воздавать должное своим достоинствам наедине с собою столь же разумно, сколь смехотворно превозносить их в присутствии других.

308

Умеренность провозгласили добродетелью для того, чтобы обуздать честолюбие великих людей и утешить людей незначительных, обладающих лишь скромным достоянием и скромными достоинствами.

309

Есть люди, которым на роду написано быть глупцами: они делают глупости не только по собственному желанию, но и по воле судьбы.

310

Бывают в жизни положения, выпутаться из которых можно только с помощью изрядной доли безрассудства.

311

Если и есть на свете люди, которые никогда не казались смешными, то это значит лишь, что никто не старался отыскать в них смешные черты.

312

Любовники только потому никогда не скучают друг с другом, что они все время говорят о себе.

313

Почему мы запоминаем во всех подробностях то, что с нами случилось, но не способны за-

помнить, сколько раз мы рассказывали об этом одному и тому же лицу?

314

Необычайное удовольствие, с которым мы говорим о себе, должно было бы внушить нам подозрение, что наши собеседники его отнюдь не разделяют.

315

Нашей полной откровенности с друзьями мешает обычно не столько недоверие к ним, сколько недоверие к самим себе.

316

Люди слабохарактерные не способны быть искренними.

317

Невелика беда — услужить неблагодарному, но большое несчастье — принять услугу от подлеца.

318

Можно излечить от безрассудства, но нельзя выпрямить кривой ум.

319

Нам ненадолго хватило бы добрых чувств, которые мы должны питать к нашим друзьям и благодетелям, если бы мы позволяли себе вволю говорить об их недостатках.

320

Восхвалять государей за достоинства, которыми они не обладают, значит безнаказанно наносить им оскорбление.

321

Нам легче полюбить тех, кто нас ненавидит, нежели тех, кто любит сильнее, чем нам желательно.

322

Боится презрения лишь тот, кто его заслужи-

вает.

323

Наше здравомыслие так же подвластно случаю, как и богатство.

324

В ревности больше самолюбия, чем любви.

325

Слабость характера нередко утешает нас в таких несчастьях, в каких бессилен утешить разум.

326

Смешное наносит чести больший ущерб, чем само бесчестие.

327

Признаваясь в маленьких недостатках, мы тем самым стараемся убедить окружающих в том, что у нас нет крупных.

328

Зависть еще непримиримее, чем ненависть.

329

Иногда людям кажется, что они ненавидят лесть, в то время как им ненавистна лишь та или иная ее форма.

330

Пока люди любят, они прощают.

331

Труднее хранить верность той женщине, которая дарит счастье, нежели той, которая причиняет мучения.

332

Женщины не сознают всей беспредельности своего кокетства.

333

Непреклонная строгость поведения противна

женской натуре.

334

Женщине легче преодолеть свою страсть, нежели свое кокетство.

335

В любви обман почти всегда заходит дальше недоверия.

336

Бывает такая любовь, которая в высшем своем проявлении не оставляет места для ревности.

337

Иные достоинства подобны зрению или слуху: люди, лишенные этих достоинств, не способны увидеть и оценить их в окружающих.

338

Слишком лютая ненависть ставит нас ниже тех, кого мы ненавидим.

339

Счастье и несчастье мы переживаем соразмерно нашему самолюбию.

340

Ум у большинства женщин служит не столько для укрепления их благоразумия, сколько для оправдания их безрассудств.

341

Равнодушие старости не более способствует спасению души, чем пылкость юности.

342

Ум и сердце человека, так же как и его речь, хранят отпечаток страны, в которой он родился.

343

Чтобы стать великим человеком, нужно уметь искусно пользоваться всем, что предлагает судьба.

344

Многие люди, подобно растениям, наделены скрытыми свойствами; обнаружить их может только случай.

345

Только стечение обстоятельств открывает нашу сущность окружающим и, главное, нам самим.

346

Не может быть порядка в уме и сердце женщины, если ее темперамент с ними не в ладу.

347

Мы считаем здравомыслящими лишь тех людей, которые во всем с нами согласны.

348

Когда человек любит, он часто сомневается в том, во что больше всего верит.

349

Величайшее чудо любви в том, что она излечивает от кокетства.

350

Мы потому возмущаемся людьми, которые с нами лукавят, что они считают себя умнее нас.

351

Когда люди уже не любят друг друга, им трудно найти повод для того, чтобы разойтись.

352

Нам почти всегда скучно с теми людьми, с которыми не полагается скучать.

353

Человек истинно достойный может быть влюблен как безумец, но не как глупец.

354

Иные недостатки, если ими умело пользовать-

ся, сверкают ярче любых достоинств.

355

Мы иногда теряем людей, о которых не столько жалеем, сколько печалимся; однако бывает и так, что мы нисколько не печалимся, хотя и жалеем об утрате.

356

Чистосердечной похвалой мы обычно награждаем лишь тех, кто нами восхищается.

357

Люди мелкого ума чувствительны к мелким обидам; люди большого ума всё замечают и ни на что не обижаются.

358

Истинный признак христианских добродетелей — это смирение; если его нет, все наши недостатки остаются при нас, а гордость только скрывает их от окружающих и нередко от нас самих.

359

Неверность должна была бы убивать любовь, и не следовало бы ревновать тогда, когда к этому есть основания: ревности достоин лишь тот, кто старается ее не вызывать.

360

Мельчайшую неверность в отношении нас мы судим куда суровее, чем самую коварную измену в отношении других.

361

Ревность всегда рождается вместе с любовью, но не всегда вместе с нею умирает.

362

Когда женщина оплакивает своего возлюбленного, это чаще всего говорит не о том, что она его любила, а о том, что она хочет казаться достойной любви.

363

Иной раз нам не так мучительно покориться принуждению окружающих, как самим к чему-то себя принудить.

364

Всем достаточно известно, что не подобает человеку говорить о своей жене, но недостаточно известно, что еще меньше ему подобает говорить о себе.

365

Иные достоинства вырождаются в недостатки, если они присущи нам от рождения, а другие никогда не достигают совершенства, если они благоприобретенные; так, например, бережливость и осмотрительность нам должен внушить разум, но доброту и доблесть должна подарить природа.

366

Как бы мало мы ни доверяли нашим собеседникам, нам все же кажется, что с нами они

искреннее, чем с кем бы то ни было.

367

На свете мало порядочных женщин, которым не опостылела бы их добродетель.

368

Почти все порядочные женщины — это нетронутые сокровища, которые потому и в неприкосновенности, что их никто не ищет.

369

Усилия, которые мы прилагаем, чтобы не влюбиться, порою причиняют нам больше мучений, чем жестокость тех, в кого мы уже влюбились.

370

Трусы обычно не сознают всей силы своего страха.

371

Тот, кого разлюбили, обычно сам виноват, что вовремя этого не заметил.

372

Юношам часто кажется, что они естественны, тогда как на самом деле они просто невоспитанны и грубы.

373

Иной раз, проливая слезы, мы ими обманываем не только других, но и самих себя.

374

Весьма заблуждается тот, кто думает, будто он любит свою любовницу только за ее любовь к нему.

375

Люди недалекие обычно осуждают все, что выходит за пределы их понимания.

376

Настоящая дружба не знает зависти, а настоящая любовь — кокетства.

377

Лишены прозорливости не те люди, которые не достигают цели, а те, которые прошли мимо нее.

378

Можно дать другому разумный совет, но нельзя научить его разумному поведению.

379

Все, что перестает удаваться, перестает и привлекать.

380

Как все предметы лучше всего видны на свету, так наши добродетели и пороки отчетливее всего выступают в лучах удачи.

381

Верность, которую удается сохранить только ценой больших усилий, ничуть не лучше измены.

382

Наши поступки подобны строчкам буриме: каждый связывает их с чем ему заблагорассудится.

383

Наша искренность в немалой доле вызвана желанием поговорить о себе и выставить свои недостатки в благоприятном свете.

384

Нам следовало бы удивляться только нашей способности чему-нибудь еще удивляться.

385

Одинаково трудно угодить и тому, кто любит очень сильно, и тому, кто уже совсем не любит.

386

Как раз те люди, которые во что бы то ни стало хотят всегда быть правыми, чаще всего бывают неправы.

387

Глупец не может быть добрым: для этого у него слишком мало мозгов.

388

Если тщеславие и не повергает в прах все наши добродетели, то, во всяком случае, оно их колеблет.

389

Мы потому так нетерпимы к чужому тщеславию, что оно уязвляет наше собственное.

390

Легче пренебречь выгодой, чем отказаться от прихоти.

391

Судьбу считают слепой главным образом те, кому она не дарует удачи.

392

С судьбой следует обходиться, как со здоровьем: когда она нам благоприятствует — наслаждаться ею, а когда начинает капризничать — терпеливо выжидать, не прибегая без особой необходимости к сильнодействующим средствам.

393

Мещанские замашки порою скрадываются в кругу военных, но они всегда заметны при дворе.

394

Можно перехитрить кого-то одного, но нельзя перехитрить всех на свете.

395

Порою легче стерпеть обман того, кого любишь, чем услышать от него всю правду.

396

Женщина долго хранит верность первому свое-

му любовнику, если только она не берет второго.

397

Мы не дерзаем огульно утверждать, что у нас совсем нет пороков, а у наших врагов совсем нет добродетелей, но в каждом отдельном случае мы почти готовы этому поверить.

398

Мы охотнее признаёмся в лености, чем в других наших недостатках; мы внушили себе, что она проистекает из наших миролюбивых добродетелей и, не нанося большого ущерба прочим достоинствам, лишь умеряет их проявление.

399

Людям иной раз присуща величавость, которая не зависит от благосклонности судьбы: она проявляется в манере держать себя, которая выделяет человека и словно пророчит ему блистательное будущее, а также в той оценке, которую он невольно себе дает. Именно это качество привлекает к нам уважение окружающих и возвышает над ними так, как не могли бы возвысить ни

происхождение, ни сан, ни даже добродетели.

400

Достоинствам не всегда присуща величавость, но величавости всегда присущи хоть какие-нибудь достоинства.

401

Величавость так же к лицу добродетели, как драгоценный убор к лицу красивой женщине.

402

В волокитстве есть все что угодно, кроме любви.

403

Чтобы возвысить нас, судьба порой пользуется нашими недостатками; так, например, иные беспокойные люди были вознаграждены по заслугам только потому, что все старались любой ценой отделаться от них.

404

По-видимому, природа скрывает в глубинах нашей души способности и дарования, о которых мы и сами не подозреваем; только страсти пробуждают их к жизни и порою сообщают нам такую проницательность и твердость, каких при обычных условиях мы никогда не могли бы достичь.

405

Мы вступаем в различные возрасты нашей жизни точно новорожденные, не имея за плечами никакого опыта, сколько бы нам ни было лет.

406

Кокетки притворяются, будто ревнуют своих любовников, желая скрыть, что они просто завидуют другим женщинам.

407

Когда нам удается надуть других, они редко кажутся нам такими дураками, какими кажемся мы самим себе, когда другим удается надуть нас.

408

В особенно смешное положение ставят себя те старые женщины, которые помнят, что когда-то были привлекательны, но забыли, что давно уже утратили былое очарование.

409

Нередко нам пришлось бы стыдиться своих самых благородных поступков, если бы окружающим были известны наши побуждения.

410

Величайший подвиг дружбы не в том, чтобы показать другу наши недостатки, а в том, чтобы открыть ему глаза на его собственные.

411

Любой наш недостаток более простителен, чем уловки, на которые мы идем, чтобы его скрыть.

412

Каким бы тяжелым позором мы себя ни по-

крыли, у нас почти всегда остается возможность восстановить свое доброе имя.

413

Не может долго нравиться тот, кто умен всегда на один лад.

414

Дуракам и безумцам весь мир представляется в свете их сумасбродства.

415

Ум служит нам порою лишь для того, чтобы смело делать глупости.

416

Горячность, которая с годами все возрастает, уже граничит с глупостью.

417

Тот, кто излечивается от любви первым, — всегда излечивается полнее.

418

Молодым женщинам, не желающим прослыть кокетками, и пожилым мужчинам, не желающим казаться смешными, следует говорить о любви так, словно они к ней не причастны.

419

Мы можем казаться значительными, занимая положение, которое ниже наших достоинств, но мы нередко кажемся ничтожными, занимая положение, слишком для нас высокое.

420

Нам часто представляется, что мы стойки в несчастии, хотя на самом деле мы только угнетены; мы переносим его, не смея на него взглянуть, как трусы, которым так страшно защищаться, что они готовы дать себя убить.

421

Больше всего оживляет беседу не ум, а взаимное доверие.

422

Любая страсть толкает на ошибки, но на самые глупые толкает любовь.

423

Как мало на свете стариков, владеющих искусством быть стариками!

424

Нам нравится наделять себя недостатками, противоположными тем, которые присущи нам на самом деле: слабохарактерные люди, например, любят хвастаться упрямством.

425

Проницательность придает нам такой всезнающий вид, что она льстит нашему тщеславию больше, чем все прочие качества ума.

426

Прелесть новизны и долгая привычка, при всей их противоположности, одинаково мешают нам

видеть недостатки наших друзей.

427

Большинство друзей внушает отвращение к дружбе, а большинство людей благочестивых — к благочестию.

428

Мы охотно прощаем нашим друзьям недостатки, которые нас не задевают.

429

Влюбленная женщина скорее простит большую нескромность, нежели маленькую неверность.

430

На старости любви, как и на старости лет, люди еще живут для скорбей, но уже не живут для наслаждений.

431

Ничто так не мешает естественности, как желание казаться естественным.

432

Чистосердечно хвалить добрые дела — значит до некоторой степени принимать в них участие.

433

Вернейший признак высоких добродетелей — от самого рождения не знать зависти.

434

Будучи обмануты друзьями, мы можем равнодушно принимать проявления их дружбы, но должны сочувствовать им в их несчастьях.

435

Миром правят судьба и прихоть.

436

Легче познать людей вообще, чем одного человека в частности.

437

О достоинствах человека нужно судить не по

его хорошим качествам, а по тому, как он ими пользуется.

438

Наша благодарность иногда бывает так велика, что, расплачиваясь с друзьями за сделанное нам добро, мы еще оставляем их у себя в долгу.

439

У нас нашлось бы очень мало страстных желаний, если бы мы точно знали, чего мы хотим.

440

Женщины в большинстве своем оттого так равнодушны к дружбе, что она кажется им пресной в сравнении с любовью.

441

В дружбе, как и в любви, чаще доставляет счастье то, чего мы не знаем, нежели то, что нам известно.

442

Мы стараемся вменить себе в заслугу те недостатки, которых не желаем исправлять.

443

Даже самые бурные страсти порою дают нам передышку, и только тщеславие терзает нас неотступно.

444

Старые безумцы еще безумнее молодых.

445

Слабохарактерность еще дальше от добродетели, чем порок.

446

Стыд и ревность потому причиняют нам такие муки, что тут бессильно помочь даже тщеславие.

447

Приличие — это наименее важный из всех законов общества и наиболее чтимый.

448

Здравомыслящему человеку легче подчиняться сумасбродам, чем управлять ими.

449

Когда судьба возносит нас сразу на такую высоту, о которой мы не могли и мечтать, то почти всегда оказывается, что мы не в состоянии достойно держать себя в новом положении.

450

Наша гордость часто возрастает за счет недостатков, которые нам удалось преодолеть.

451

Нет глупцов более несносных, чем те, которые не совсем лишены ума.

452

Нет на свете человека, который не ценил бы любое свое качество куда выше, чем подобное же качество у другого, даже самого уважаемого им человека.

453

В серьезных делах следует заботиться не столько о том, чтобы создавать благоприятные возможности, сколько о том, чтобы их не упускать.

454

Никто не прогадал бы, согласившись на то, чтобы о нем перестали говорить хорошо, при условии, что не станут говорить Дурно.

455

Как ни склонны люди к неправильным суждениям, все же несправедливость к подлинным достоинствам они проявляют реже, чем благосклонность к мнимым.

456

Глупые люди могут иной раз проявить ум, но к здравому суждению они не способны.

457

Мы выиграли бы в глазах людей, если бы являлись им такими, какими мы всегда были и есть, а не прикидывались такими, какими никогда не были и не будем.

458

Суждения наших врагов о нас ближе к истине, чем наши собственные.

459

Существуют разные лекарства от любви, но нет ни одного надежного.

460

Мы и не представляем себе, на что могут нас толкнуть наши страсти.

461

Старость — это тиран, который под страхом смерти запрещает нам все наслаждения юности.

462

Гордость, заставляющая нас порицать недостатки, которых, как нам кажется, у нас нет, велит нам также презирать и отсутствующие у нас достоинства.

463

Сочувствие врагам, попавшим в беду, чаще всего бывает вызвано не столько добротой, сколько гордостью: мы соболезнуем им для того, чтобы они поняли наше превосходство над ними.

464

Существует такая степень счастья и горя, которая выходит за пределы нашей способности чувствовать.

465

Насколько преступление легче находит себе покровителей, нежели невинность!

466

Все бурные страсти не к лицу женщинам, но менее других им не к лицу любовь.

467

Тщеславие чаще заставляет нас идти против наших склонностей, чем разум.

468

Порою из дурных качеств складываются великие таланты.

469

Мы никогда не стремимся страстно к тому, к чему стремимся только разумом.

470

Все наши качества, дурные, равно как и хоро-

шие, неопределенны и сомнительны, и почти всегда они зависят от милости случая.

471

Когда женщина влюбляется впервые, она любит своего любовника; в дальнейшем она любит уже только любовь.

472

У гордости, как и у других страстей, есть свои причуды: люди стараются скрыть, что они ревнуют сейчас, но хвалятся тем, что ревновали когда-то и способны ревновать и впредь.

473

Как ни редко встречается настоящая любовь, настоящая дружба встречается еще реже.

474

Мало на свете женщин, достоинства которых пережили бы их красоту.

475

Желание вызвать жалость или восхищение — вот что нередко составляет основу нашей откровенности.

476

Наша зависть всегда долговечнее чужого счастья, которому мы завидуем.

477

Твердость характера заставляет людей сопротивляться любви, но в то же время она сообщает этому чувству пылкость и длительность; люди слабые, напротив, легко загораются страстью, но почти никогда не отдаются ей с головой.

478

Никакому воображению не придумать такого множества противоречивых чувств, какие обычно уживаются в одном человеческом сердце.

479

Истинно мягкими могут быть только люди с твердым характером: у остальных же кажущаяся мягкость — это чаще всего просто слабость, которая легко превращается в озлобленность.

480

Опасно упрекать в робости тех, кого хотят от нее исцелить.

481

Нет качества более редкого, чем истинная доброта: большинство людей, считающих себя добрыми, только снисходительны или слабы.

482

Наш разум, по своей лености и косности, занят обычно лишь тем, что ему легко или приятно; эта привычка ограничивает наши познания, и никто еще не дал себе труда обогатить и расширить свой разум до пределов возможного.

483

Люди злословят обычно не столько из желания навредить, сколько из тщеславия.

484

Пока угасающая страсть все еще волнует наше сердце, оно более склонно к новой любви, чем впоследствии, когда наступает полное исцеление.

485

Те, кому довелось пережить большие страсти, потом всю жизнь и радуются своему исцелению, и горюют о нем.

486

Люди завистливые встречаются еще реже, чем бескорыстные.

487

Наш ум ленивее, чем тело.

488

Наше душевное спокойствие или смятение зависят не столько от важнейших событий нашей жизни, сколько от удачного или неприятного для нас сочетания житейских мелочей.

489

Как ни злы люди, они все же не осмеливаются открыто преследовать добродетель. Поэтому, готовясь напасть на нее, они притворяются, будто считают ее лицемерной, или же приписывают ей какие-нибудь преступления.

490

Люди часто изменяют любви ради честолюбия, но потом уже никогда не изменяют честолюбию ради любви.

491

Непомерная скупость почти всегда ошибается в своих расчетах: она чаще, чем все другие страсти, уходит от цели, к которой стремится, и оказывается во власти настоящего в ущерб будущему.

492

Скупость нередко приводит к самым противоречивым следствиям: многие люди приносят все свое состояние в жертву отдаленным и сомнительным надеждам, другие же пренебрегают крупными выгодами в будущем ради мелочной сегодняшней наживы.

493

Людям, видно, мало своих недостатков: они еще умножают их всевозможными чудачествами, которыми словно бы даже гордятся; эти странности, взращенные с таким усердием, становятся в конце концов природными недостатками и отделаться от них уже невозможно.

494

Насколько ясно люди понимают свои ошибки, видно из того, что, рассказывая о своем поведении, они всегда умеют выставить его в благоприятном свете: то самое самолюбие, которое обычно ослепляет их ум, в этом случае придает ему такую зоркость и проницательность, что

им удается ловко утаить или смягчить любую мелочь, способную вызвать неодобрение.

495

Впервые вступая в свет, молодые люди должны быть застенчивы или даже неловки: уверенность и непринужденность манер обычно оборачиваются наглостью.

496

Людские ссоры не длились бы так долго, если бы вся вина была на одной стороне.

497

Быть молодой, но некрасивой так же неутешительно для женщины, как быть красивой, но немолодой.

498

Есть люди, столь ветреные и легковесные, что у них не может быть ни крупных недостатков, ни подлинных достоинств.

499

Молва припоминает женщине ее первого любовника обычно лишь после того, как она завела себе второго.

500

Есть люди, столь поглощенные собой, что, влюбившись, они ухитряются больше думать о собственной любви, чем о предмете своей страсти.

501

Как ни приятна любовь, все же ее внешние проявления доставляют нам больше радости, чем она сама.

502

Ум ограниченный, но здравый в конце концов не так утомителен в собеседнике, как ум широкий, но путаный.

503

Терзания ревности — самые мучительные из человеческих терзаний, и к тому же менее всего внушающие сочувствие тому, кто их причиняет.

504

После всех рассуждений о лицемерности многих показных добродетелей нужно сказать несколько слов и о лицемерности презрения к смерти. Я имею в виду то презрение, о котором говорят безбожники, похваляясь, что черпают его не в уповании на лучшую жизнь, а в своей собственной неустрашимости. Между стойким приятием смерти и презрением к ней — огромная разница: первое встречается довольно часто, второе же, по моему мнению, не бывает искренним никогда. Правда, было написано множество убедительных трактатов, в которых доказывалось, что смерть совсем не страшна; самые слабые люди, точно так же, как славнейшие герои, явили тысячи знаменитых примеров, подтверждающих такой взгляд. Я убежден, однако, что его никогда не разделял ни один здравомыслящий человек. Настойчивость, которую проявляют

приверженцы этого взгляда, пытаясь внушить его другим и самим себе, уже говорит о том, что эта задача не из легких. Можно по каким-либо причинам питать отвращение к жизни, но нельзя презирать смерть. Даже люди, добровольно обрекающие себя на нее, отнюдь не считают смерть такой уж малостью; напротив, они, как и все остальные, страшатся, а порой и отвергают ее, если она приходит к ним не той дорогой, какую они для нее избрали. Колебания, которым подвержено мужество доблестнейших людей, объясняется именно тем, что смерть не всегда рисуется их воображению с одинаковой яркостью. Все дело в том, что они презирают смерть, пока не постигли ее, но, постигнув, поддаются страху. Следует всячески избегать мыслей о ней и обо всем, что ее окружает, иначе она покажется нам величайшим бедствием. Самые смелые и самые разумные люди — это те, которые под любыми благовидными предлогами стараются не думать о смерти. Всякий, кому довелось узнать ее такой, какова она в действительности, понимает, что она ужасна. Единственным источником стойкости для философов всех времен являлась неизбежность смерти. Они считали необходимым с готовностью идти туда, куда не могли не

идти, и, будучи не в состоянии навеки сохранить свою жизнь, изо всех сил старались увековечить хотя бы свою славу и спасти от крушения все, что возможно. Ограничимся же тем, что ради сохранения нашего достоинства не станем даже самим себе признаваться в наших мыслях о смерти и возложим все надежды на бодрость нашего духа, а не на шаткие рассуждения о том, будто к ней следует приближаться безбоязненно. Желание стяжать себе славу стойкой смертью, утешительные мысли о печали окружающих, надежда оставить после себя доброе имя, уверенность в освобождении от жизненных тягот и прихотей судьбы — все это недурные средства, но ни одно из них нельзя считать надежным. От них не больше проку, чем от деревянной изгороди для солдат, которым нужно перебежать поле под огнем врага. Пока изгородь далеко, людям кажется, что она может их защитить, но по мере приближения к ней они начинают понимать, что защита эта непрочна. Было бы слишком самонадеянно с нашей стороны думать, что смерть и вблизи покажется нам такой же, какой мы видели ее издали, и что наши чувства, имя которым — слабость, достаточно закалены, чтобы позволить нам бестрепетно пройти через самое

тяжкое из всех испытаний. Равным образом и на себялюбие может рассчитывать лишь тот, кто его не понимает: оно не способно заставить нас легко отнестись к событию, которое ему же несет гибель. Наконец, разум, в котором многие надеются найти поддержку, слишком слаб, чтобы при встрече со смертью мы могли на него опереться. Наоборот, он особенно часто предает нас и, вместо того чтобы научить презрению к смерти, ярко освещает все, что есть в ней ужасного и отталкивающего. Единственное, что в его силах, — это посоветовать нам отвратить от нее взоры и сосредоточить их на чем-нибудь другом. Катон и Брут обратились к возвышенным помыслам, а не так давно некий лакей удовольствовался тем, что пустился в пляс на том самом эшафоте, где его должны были колесовать. Невзирая на то, что способы различны, — результат один и тот же. Хотя разница между великими людьми и людьми заурядными огромна, те и другие, как явствует из множества примеров, нередко принимают смерть одинаково. Впрочем, есть и отличие: у великих людей презрение к смерти вызвано ослепляющей их любовью к славе, а у людей простых — ограниченностью, которая не позволяет им постичь всю глубину ожидающего

их несчастья и дает возможность думать о вещах посторонних., ярко освещает все, что есть в ней ужасного и отталкивающего. Единственное, что в его силах, — это посоветовать нам отвратить от нее взоры и сосредоточить их на чем-нибудь другом. Катон и Брут обратились к возвышенным помыслам, а не так давно некий лакей удовольствовался тем, что пустился в пляс на том самом эшафоте, где его должны были колесовать. Невзирая на то, что способы различны, — результат один и тот же. Хотя разница между великими людьми и людьми заурядными огромна, те и другие, как явствует из множества примеров, нередко принимают смерть одинаково. Впрочем, есть и отличие: у великих людей презрение к смерти вызвано ослепляющей их любовью к славе, а у людей простых — ограниченностью, которая не позволяет им постичь всю глубину ожидающего их несчастья и дает возможность думать о вещах посторонних.

505

Дарования, которыми Господь наделил людей, так же разнообразны, как деревья, которыми он украсил землю, и каждое обладает особенными свойствами и приносит лишь ему присущие пло-

ды. Потому-то лучшее грушевое дерево никогда не родит даже дрянных яблок, а самый даровитый человек пасует перед делом хотя и заурядным, но дающимся только тому, кто к этому делу способен. И потому сочинять афоризмы, не имея хоть небольшого таланта к занятию такого рода, не менее смехотворно, чем ожидать, что на грядке, где не высажены луковицы, зацветут тюльпаны.

506

Разновидностей тщеславия столько, что и считать не стоит.

507

Свет полон горошин, которые издеваются над бобами.

508

Кто слишком высоко ценит благородство своего происхождения, тот недостаточно ценит дела, которые некогда легли в его основу.

509

В наказание за первородный грех Бог дозволил

человеку сотворить кумир из себялюбия, чтобы оно терзало его на всех жизненных путях.

510

Своекорыстие — душа нашего сознания: подобно тому, как тело, лишенное души, не видит, не слышит, не сознает, не чувствует и не движется, так и сознание, разлученное, если дозволено употребить такое выражение, со своекорыстием, не видит, не слышит, не чувствует и не действует. Потому-то и человек, который во имя своей выгоды скитается по морям и землям, вдруг как бы цепенеет, едва речь заходит о выгоде ближнего; потому-то внезапно погружаются в дремоту и словно отлетают в иной мир те, кому мы рассказываем о своих делах, и так же внезапно просыпаются, стоит им почуять в нашем рассказе нечто, хотя бы отдаленно их затрагивающее. Вот и получается, что наш собеседник то теряет сознание, то приходит в себя, смотря по тому, идет ли дело о его выгоде или, напротив, не имеет к нему никакого касательства.

511

Мы всего боимся, как и положено смертным, и

всего хотим, как будто награждены бессмертием.

512

Порой кажется, что сам дьявол придумал поставить леность на рубежах наших добродетелей.

513

Мы потому готовы поверить любым рассказам о недостатках наших ближних, что всего легче верить желаемому.

514

Исцеляет от ревности только полная уверенность в том, чего мы больше всего боялись, потому что вместе с нею приходит конец или нашей любви, или жизни; что и говорить, лекарство жестокое, но менее жестокое, чем недоверие и подозрение.

515

Где надежда, там и боязнь: боязнь всегда полна надежды, надежда всегда полна боязни.

516

Не следует обижаться на людей, утаивших от нас правду: мы и сами постоянно утаиваем ее от себя.

517

Мы чаще всего потому превратно судим о сентенциях, доказывающих лживость людских добродетелей, что наши собственные добродетели всегда кажутся нам истинными.

518

Преданность властям предержащим — лишь другая личина себялюбия.

519

Где конец добру, там начало злу, а где конец злу, там начало добру.

520

Философы порицают богатство лишь потому, что мы плохо им распоряжаемся.

От нас одних зависит и приобретать, и пускать его в ход, не служа при этом пороку. Вместо того, чтобы с помощью богатства поддерживать и питать злодеяния, как с помощью дров питают пламя, мы могли бы отдать его на служение добродетелям, придав им тем самым и блеск, и привлекательность.

521

Крушение всех надежд человека приятно и его друзьям и недругам.

522

Поскольку всех счастливее в этом мире тот, кто довольствуется малым, то власть имущих и честолюбцев надо считать самыми несчастными людьми, потому что для счастья им нужно несметное множество благ.

523

Человек ныне не таков, каким был создан, и вот убедительнейшее доказательство этому: чем разумнее он становится, тем больше стыдится в душе сумасбродства, низости и порочности своих

чувств и наклонностей.

524

Сентенции, обнажающие человеческое сердце, вызывают такое возмущение потому, что людям боязно предстать перед светом во всей своей наготе.

525

Люди, которых мы любим, почти всегда более властны над нашей душой, нежели мы сами.

526

Мы часто клеймим чужие недостатки, но редко, пользуясь их примером, исправляем свои.

527

Человек так жалок, что, посвятив себя единственной цели — удовлетворению своих страстей, беспрестанно сетует на их тиранство; не желая выносить их гнет, он вместе с тем не желает и сделать усилие, чтобы сбросить его; ненавидя страсти, не менее ненавидит и лекарства, их исцеляющие; восставая против терзаний недуга,

восстает и против тягот лечения.

528

Когда мы радуемся или печалимся, наши чувства соразмерны не столько удачам или бедам, доставшимся нам на долю, сколько нашей способности чувствовать.

529

Хитрость — признак недалекого ума.

530

Мы расточаем похвалы только затем, чтобы извлечь потом из них выгоду.

531

Людские страсти — это всего лишь разные склонности людского себялюбия.

532

Окончательно соскучившись, мы перестаем скучать.

533

Люди хвалят или бранят чаще всего то, что принято хвалить или бранить.

534

Множество людей притязают на благочестие, но никого не привлекает смирение.

535

Физический труд помогает забывать о нравственных страданиях; поэтому бедняки — счастливые люди.

536

Истинному самобичеванию подвергает себя лишь тот, кто никого об этом не оповещает; в противном случае все облегчается тщеславием.

537

Смирение — это угодный Богу алтарь для наших жертвоприношений.

538

Мудрец счастлив, довольствуясь немногим, а глупцу всего мало: вот почему почти все люди несчастны.

539

Нас мучит не столько жажда счастья, сколько желание прослыть счастливцами.

540

Легче убить желание в зародыше, чем потом ублаготворять все вожделения, им рожденные.

541

Ясный разум дает душе то, что здоровье — телу.

542

Так как великие мира сего не могут дать человеку ни телесного здоровья, ни душевного покоя, то все их благодеяния он всегда оплачивает по слишком дорогой цене.

543

Прежде чем сильно чего-то пожелать, следует осведомиться, очень ли счастлив нынешний обладатель желаемого.

544

Истинный друг — величайшее из земных благ, хотя как раз за этим благом мы меньше всего гонимся.

545

Любовники начинают видеть недостатки своих любовниц, лишь когда их увлечению приходит конец.

546

Благоразумие и любовь не созданы друг для друга: по мере того, как растет любовь, уменьшается благоразумие.

547

Ревнивая жена порою даже приятна мужу: он

хотя бы все время слышит разговоры о предмете своей любви.

548

Какой жалости достойна женщина, истинно любящая и при том добродетельная!

549

Мудрый человек понимает, что лучше воспретить себе увлечение, чем потом с ним бороться.

550

Куда полезнее изучать не книги, а людей.

551

Обычно счастье приходит к счастливому, а несчастье — к несчастному.

552

Порядочная женщина — это скрытое от всех сокровище; найдя его, человек разумный не станет им хвалиться.

553

Кто очень сильно любит, тот долго не замечает, что он-то уже не любим.

554

Мы браним себя только для того, чтобы нас похвалили.

555

Нам почти всегда скучно с теми, кому скучно с нами.

556

Говорить всего труднее как раз тогда, когда стыдно молчать.

557

Как естественна и вместе с тем как обманчива вера человека в то, что он любим!

555

Нам приятнее видеть не тех людей, которые

нам благодетельствуют, а тех, кому благодетельствуем мы.

559

Скрыть наши истинные чувства труднее, чем изобразить несуществующие.

560

Возобновленная дружба требует больше забот и внимания, чем дружба, никогда не прерывавшаяся.

561

Куда несчастнее тот, кому никто не нравится, чем тот, кто не нравится никому.

562

Старость — вот преисподняя для женщин.

563

Себялюбие — это любовь человека к себе и ко всему, что составляет его благо. Оно побуждает людей обоготворять себя и, если судьба им по-

творствует, тиранить других; довольство оно находит лишь в себе самом, а на всем постороннем останавливается, как пчела на цветке, стараясь извлечь из него пользу. Ничто не сравнится с неистовством его желаний, скрытностью умыслов, хитроумием поступков; его способность подлаживаться невообразима, перевоплощения посрамляют любые метаморфозы, а умение придать себе чистейший вид превосходит любые уловки химии. Глубина его пропастей безмерна, мрак непроницаем. Там, укрытое от любопытных глаз, оно совершает свои неприметные круговращения, там, незримое порою даже самому себе, оно, не ведая того, зачинает, вынашивает, вскармливает своими соками множество приязней и неприязней и потом производит на свет таких чудищ, что либо искренно не признает их своими, либо предпочитает от них отречься. Из тьмы, окутывающей его, возникают нелепые самообольщения, невежественные, грубые, дурацкие ошибки на свой счет, рождается уверенность, что чувства его умерли, когда они только дремлют, убеждение, что ему никогда больше не захочется бегать, если в этот миг оно расположено отдыхать, вера, что оно утратило способность желать, если все его желания временно удовлетворены.

Однако густая мгла, скрывающая его от самого себя, ничуть не мешает ему отлично видеть других, и в этом оно похоже на наши телесные глаза, зоркие к внешнему миру, но слепые к себе. И действительно, когда речь идет о заветных его замыслах или важных предприятиях, оно мгновенно настораживается и, побуждаемое страстной жаждой добиться своего, видит, чует, слышит, догадывается, подозревает, проникает, улавливает с такой безошибочностью, что мнится, будто не только оно, но и каждая из его страстей наделена поистине магической проницательностью. Привязанности его так сильны и прочны, что оно не в состоянии избавиться от них, даже если они грозят ему неисчислимыми бедами, но иногда оно вдруг с удивительной легкостью и быстротой разделывается с чувствами, с которыми упорно, но безуспешно боролось многие годы. Отсюда можно с полным основанием сделать вывод, что не чья-то красота и достоинства, а оно само распаляет свои желания, и что лишь его собственный вкус придает цену вожделенному предмету и наводит на него глянец. Оно гонится не за чем-либо, а лишь за самим собой и, добиваясь того, что ему по нраву, ублажает свой собственный нрав. Оно соткано из противоречий,

оно властно и покорно, искренне и лицемерно, сострадательно и жестоко, робко и дерзновенно, оно питает самые разные склонности, которые зависят от самых разных страстей, попеременно толкающих его к завоеванию то славы, то богатства, то наслаждений. Свои цели оно меняет вместе с изменением нашего возраста, благоденствия, опыта, но ему неважно, сколько этих целей, одна или несколько, ибо, когда ему нужно или хочется, оно может и посвятить себя одной и отдаться поровну нескольким. Оно непостоянно и, не считая перемен, вызванных внешними обстоятельствами, то и дело рождает перемены из собственных своих глубин: оно непостоянно от непостоянства, от легкомыслия, от любви, от жажды нового, от усталости, от отвращения. Оно своенравно, поэтому порою, не зная отдыха, усердно трудится, добиваясь того, что ему не только невыгодно, но и прямо вредоносно, однако составляет предмет его желаний. Оно полно причуд и часто весь свой пыл отдает предприятиям самым пустячным, находит удовольствие в том, что безмерно скучно, бахвалится тем, что достойно презрения. Оно существует у людей любого достатка и положения, живет повсюду, питается всем и ничем, может примениться к изобилию

и к лишениям, переходит даже в стан людей, с ним сражающихся, проникает в их замыслы и, что совсем уже удивительно, вместе с ними ненавидит само себя, готовит свою погибель, добивается своего уничтожения, словом, в заботе о себе и во имя себя становится своим собственным врагом. Но не следует недоумевать, если иной раз оно объявляет себя сторонником непреклонного самоотречения и, чтобы истребить себя, храбро вступает с ним в союз: ведь погибая в одном обличии, оно воскресает в другом.

Нам кажется, что оно отреклось от наслаждений, а на деле оно лишь отсрочило их или заменило другими; мы думаем, что оно побеждено, потерпело полное поражение, и вдруг обнаруживаем, что, напротив, даже сдав оружие, оно торжествует победу. Таков портрет себялюбия, чье существование исполнено непрерывных треволнений. Море с вечным приливом и отливом волн — вот точный образ себялюбия, неустанного движения его страстей и бурной смены его вожделений.

564

Сила всех наших страстей зависит от того, насколько холодна или горяча наша кровь.

565

Умеренность того, кому благоприятствует судьба, — это обычно или боязнь быть осмеянным за чванство, или страх перед потерей приобретенного.

566

Умеренность в жизни похожа на воздержанность в еде: съел бы еще, да страшно заболеть.

567

Мы любим осуждать людей за то, за что они осуждают нас.

568

Гордость, сыграв в человеческой комедии подряд все роли и словно бы устав от своих уловок и превращений, вдруг является с открытым лицом, высокомерно сорвав с себя маску: таким образом, высокомерие — это в сущности та же гордость, во всеуслышание заявляющая о своем присутствии.

569

Тот, кто одарен в малом, противоположен свойствами характера тому, кто способен к великому.

570

Человек, понимающий, какие несчастья могли бы обрушиться на него, тем самым уже до некоторой степени счастлив.

571

Нигде не найти покоя тому, кто не нашел его в самом себе.

572

Человек никогда не бывает так несчастен, как ему кажется, или так счастлив, как ему хочется.

573

Тайное удовольствие от сознания, что люди видят, до чего мы несчастны, нередко примиряет нас с нашими несчастьями.

574

Только зная наперед свою судьбу, мы могли бы наперед поручиться за свое поведение.

575

Может ли человек с уверенностью сказать, чего он захочет в будущем, если он не способен понять, чего ему хочется сейчас.

576

Любовь для души любящего означает то же, что душа — для тела, которое она одухотворяет.

577

Не в нашей воле полюбить или разлюбить, поэтому ни любовник не вправе жаловаться на ветреность своей любовницы, ни она — на его непостоянство.

578

Любовь к справедливости рождена живейшим беспокойством, как бы кто не отнял у нас

нашего достояния; оно-то и побуждает людей так заботливо оберегать интересы ближнего, так уважать их и так усердно избегать несправедливых поступков. Этот страх принуждает их довольствоваться благами, дарованными им по праву рождения или прихоти судьбы, а не будь его, они беспрестанно совершали бы набеги на чужие владения.

579

Справедливость умеренного судьи свидетельствует лишь о его любви к своему высокому положению.

580

Люди не потому порицают несправедливость, что питают к ней отвращение, а потому, что она наносит ущерб их выгоде.

581

Перестав любить, мы радуемся, когда нам изменяют, тем самым освобождая нас от необходимости хранить верность.

582

Радость, охватывающая нас в первую минуту при виде счастья наших друзей, вызвана отнюдь не нашей природной добротой или привязанностью к ним: она просто вытекает из себялюбивой надежды на то, что и мы в свою очередь будем счастливы или хотя бы сумеем извлечь выгоду из их удачи.

583

В невзгодах наших лучших друзей мы всегда находим нечто даже приятное для себя.

584

Как мы можем требовать, чтобы кто-то сохранил нашу тайну, если мы сами не можем ее сохранить?

585

Самое опасное следствие гордыни — это ослепление: оно поддерживает и укрепляет ее, мешая нам найти средства, которые облегчили бы наши горести и помогли бы исцелиться от пороков.

586

Потеряв надежду обнаружить разум у окружающих, мы уже и сами не стараемся его сохранить.

587

Никто так не торопит других, как лентяи: ублажив свою лень, они хотят казаться усердными.

588

У нас столько же оснований сетовать на людей, помогающих нам познать себя, как у того афинского безумца жаловаться на врача, который исцелил его от ложной уверенности, что он — богач.

589

Философы, и в первую очередь Сенека, своими наставлениями отнюдь не уничтожили преступных людских помыслов, а лишь пустили их на постройку здания гордыни.

590

Не замечать охлаждения друзей — значит мало ценить их дружбу.

591

Даже самые разумные люди разумны лишь в несущественном; в делах значительных разум обычно им изменяет.

592

Самое причудливое безрассудство бывает обычно порождением самого утонченного разума.

593

Воздержанность в еде рождена или заботой о здоровье, или неспособностью много съесть.

594

Человеческие дарования подобны деревьям: каждое обладает особенными свойствами и приносит лишь ему присущие плоды.

595

Быстрее всего мы забываем то, о чем нам прискучило говорить.

596

Когда люди уклоняются от похвал, это говорит не столько об их скромности, сколько о желании услышать более утонченную похвалу.

597

Люди порицают порок и превозносят добродетель только из своекорыстия.

598

Похвала полезна хотя бы потому, что укрепляет нас в добродетельных намерениях.

599

Красота, ум, доблесть под воздействием похвал расцветают, совершенствуются и достигают такого блеска, которого никогда бы не достигли, если бы остались незамеченными.

600

Себялюбие наше таково, что его не перещеголяет никакой льстец.

601

Люди не задумываются над тем, что запальчивость запальчивости рознь, хотя в одном случае она, можно сказать, невинна и вполне заслуживает снисхождения, ибо рождена пылкостью характера, а в другом — весьма греховна, потому что проистекает из неистовой гордыни.

602

Величием духа отличаются не те люди, у которых меньше страстей и больше добродетелей, чем у людей обыкновенных, а лишь те, у кого поистине великие замыслы.

603

Короли чеканят людей, как монету: они назначают им цену, какую заблагорассудится, и все вынуждены принимать этих людей не по их истинной стоимости, а по назначенному курсу.

604

Даже прирожденная свирепость реже толкает на жестокие поступки, нежели себялюбие.

605

О всех наших добродетелях можно сказать то же, что некий итальянский поэт сказал о порядочных женщинах: чаще всего они просто умеют прикидываться порядочными.

606

То, что люди называют добродетелью, — обычно лишь призрак, созданный их вожделениями и носящий столь высокое имя для того, чтобы они могли безнаказанно следовать своим желаниям.

607

Мы так жаждем все обратить в свою пользу, что видим добродетели в пороках, несколько схожих с ними по внешности и ловко переряженных нашим себялюбием.

608

Иные преступления столь громогласны и грандиозны, что мы оправдываем их и даже прославляем: так, обкрадыванье казны мы зовем ловкостью, а несправедливый захват чужих земель именуем завоеванием.

609

Мы сознаемся в своих недостатках только под давлением тщеславия.

610

Люди никогда не бывают ни безмерно хороши, ни безмерно плохи.

611

Человек, не способный на большое преступление, с трудом верит, что другие вполне на него способны.

612

Пышность погребальных обрядов не столько

увековечивает достоинства мертвых, сколько ублажает тщеславие живых.

613

Сквозь изменчивость и шаткость, как будто царящие в мире, проглядывает некое скрытое сцепление событий, некий извечно предопределенный Провидением порядок, благодаря которому все идет как положено по заранее предначертанному пути.

614

Чтобы вступить в заговор, нужна неколебимая отвага, а чтобы стойко переносить опасности войны, хватает обыкновенного мужества.

615

Кто захотел бы определить победу по ее родословной, тот поддался бы, вероятно, искушению назвать ее, вслед за поэтами, дочерью небес, ибо на земле ее корней не отыскать. И впрямь, победа — это итог множества деяний, имеющих целью отнюдь не ее, а частную выгоду тех, кто эти деяния совершает; вот и получается, что хотя

люди, из которых состоит войско, думают лишь о собственной выгоде и возвышении, тем не менее они завоевывают величайшее всеобщее благо.

616

Не может отвечать за свою храбрость человек, который никогда не подвергался опасности.

617

Людям куда легче ограничить свою благодарность, нежели свои надежды и желания.

618

Подражание всегда несносно, и подделка нам неприятна теми самыми чертами, которые пленяют в оригинале.

619

Глубина нашей скорби об утрате друзей сообразна порою не столько их достоинствам, сколько нашей нужде в этих людях, а также их высокому мнению о наших добродетелях.

620

Нелегко отличить неопределенное и равно ко всем относящееся благорасположение от хитроумной ловкости.

621

Неизменно творить добро нашим ближним мы можем лишь в том случае, когда они полагают, что не смогут безнаказанно причинить нам зло.

622

Чаще всего вызывают неприязнь те люди, которые твердо уверены во всеобщей приязни.

623

Нам трудно поверить тому, что лежит за пределами нашего кругозора.

624

Уверенность в себе составляет основу нашей уверенности в других.

625

Порою в обществе совершаются такие перевороты, которые меняют и его судьбы, и вкусы людей.

626

Истинность — вот первооснова и суть красоты и совершенства; прекрасно и совершенно лишь то, что, обладая всем, чем должно обладать, поистине таково, каким должно быть.

627

Иной раз прекрасные творения более привлекательны, когда они несовершенны, чем когда слишком закончены.

628

Великодушие — это благородное усилие гордости, с помощью которого человек овладевает собой, тем самым овладевая и окружающим.

629

Роскошь и чрезмерная изысканность предрекают верную гибель государству, ибо свидетельствуют о том, что все частные лица пекутся лишь о собственном благе, нисколько не заботясь о благе общественном.

630

Леность — это самая безотчетная из всех наших страстей. Хотя могущество ее неощутимо, а ущерб, наносимый ею, глубоко скрыт от наших глаз, нет страсти более пылкой и зловредной. Если мы внимательно присмотримся к ее влиянию, то убедимся, что она неизменно ухитряется завладеть всеми нашими чувствами, желаниями и наслаждениями: она — как рыба-прилипала, останавливающая огромные суда, как мертвый штиль, более опасный для важнейших наших дел, чем любые рифы и штормы. В ленивом покое душа черпает тайную усладу, ради которой мы тут же забываем о самых горячих наших упованиях и самых твердых намерениях. Наконец, чтобы дать истинное представление об этой страсти, добавим, что леность — это такой сладостный

мир души, который утешает ее во всех утратах и заменяет все блага.

631

Судьба порой так искусно подбирает различные людские поступки, что из них рождаются добродетели.

632

Все любят разгадывать других, но никто не любит быть разгаданным.

633

Какая это скучная болезнь — оберегать свое здоровье чересчур строгим режимом!

634

Легче полюбить, когда никого не любишь, чем разлюбить, уже полюбив.

635

Большинство женщин сдается не потому, что сильна их страсть, а потому, что велика их сла-

бость. Вот почему обычно имеют такой успех предприимчивые мужчины, хотя они отнюдь не самые привлекательные.

636

Нет вернее средства разжечь в другом страсть, чем самому хранить холод.

637

Любовники берут друг с друга клятвы чистосердечно признаться в наступившем охлаждении не столько потому, что хотят немедленно узнать о нем, сколько потому, что, не слыша такого признания, они еще тверже убеждаются в неизменности взаимной любви.

638

Любовь правильнее всего сравнить с горячкой: тяжесть и длительность и той, и другой нимало не зависит от нашей воли.

639

Высшее здравомыслие наименее здравомыслящих людей состоит в умении покорно следовать

разумной указке других.

640

Мы всегда побаиваемся показаться на глаза того, кого любим, после того, как нам случилось приволокнуться на стороне.

641

Должен обрести успокоение тот, у кого хватило мужества признаться в своих проступках.